



ДЕТИ
ВОЙНЫ

Павел ГУШИНЕЦ
Богдана ПОТЕХИНА
Борис ДЕНИСЮК

ВОЙНА ЗА НАШИМИ ОКНАМИ



Дети войны

Павел Гушинец

Война за нашими окнами

«Четыре четверти»

2022

Гушинец П. В.

Война за нашими окнами / П. В. Гушинец — «Четыре четверти»,
2022 — (Дети войны)

ISBN 978-985-581-415-4

В детстве и юности лето – это ожидание счастья: яркого солнца, тепла, ласковой речной волны. А еще выпускного бала и предвкушения взрослой жизни. Но лето 1941 года для тысяч детей останется границей, отделившей счастливую жизнь от жестокой действительности. За окнами больше не слышалось пения птиц, а гремели взрывы. Началась война. Эта книга – воспоминания детей, что прошли войну и остались живы. Воспроизводя их рассказы, авторы старались сохранить каждое слово, мельчайшие подробности, чтобы память об этих днях осталась навсегда и не повторилась та страшная война за нашими окнами.

ISBN 978-985-581-415-4

© Гушинец П. В., 2022
© Четыре четверти, 2022

Содержание

Предисловие	7
Иосиф (15 лет)	8
Света (1 год)	12
Зерно со вкусом войны	16
Антон (6 лет)	20
Везучая	24
Маша (12 лет)	28
Зина (18 лет)	31
За что фашисты убили мою маму?	33
Галя (5 лет)	37
Конец ознакомительного фрагмента.	38

**Павел Гушинец, Борис
Денисюк, Богдана Потехина**
Война за нашими окнами

По рассказам участников и очевидцев

© Гушинец П. В., Денисюк Б. Н., Потехина Б. О., 2022

© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2022

Войной расстрелянное детство...
Свистели пули день и ночь.
И не найти такое средство,
Чтоб всё забыть и превозмочь.

Дома кирпичные горели,
И корчился металл в огне.
От горя матери седели,
И жуткий страх сидел во мне.

А в небе мессеры ревели,
Бросая смертоносный груз.
Бомбили по живой мишени,
А в голом поле хоть бы куст.

На запад гнали эшелоны
Старух, детей и матерей,
Убитых страхом и голодных
С охраной фрицев у дверей.

И люди в ужасе бежали
С терявшей силы детворой,
Оставшихся в живых сгоняли
Фашисты снова под конвой.

Потом пешком нас в рабство гнали...
Подумать только, Боже мой!
Прикладом слабых подгоняли...
И это нас? В стране родной?!

В неволе вражьей, изуверской
Под ненавистной кабалой
В победу Родины Советской
Как верили мы всей душой

Те годы горько вспоминать
Остались в сердце болью.
Тогда мне было только пять,

Но до сих пор всё помню!

Францева Александра Петровна

*(малолетний узник фашизма, награждена медалями Победы
Республики Беларусь и Российской Федерации)*

Предисловие

Я, честное слово, не хотел. Первый сборник о жизни детей и подростков с оккупированных территорий получился очень тяжёлым. По ночам мне снились колючая проволока, собаки, немецкие автоматчики, длинные колонны беженцев и самолёты, ревущие над головой. Сны часто были чёрно-белыми, как кадры военной хроники. Я куда-то бежал, прятался.

Наутро просыпался в ужасе, не сразу понимал, что живу в начале XXI века, от снов меня отделяет почти семьдесят пять лет.

Я не хотел возвращаться в середину XX века.

Но осталось много материала, записей и историй, которые не вошли в издание «Война девочки Саши». Мне продолжают звонить из музеев нашей страны, назначать встречи, передавать статьи. Свидетелей страшных событий, которые происходили на территории Беларуси, России, Украины в огненные сороковые, становится всё меньше. И кто запишет их истории? Кто сохранит их для читателей из будущего, если не мы. Поэтому я начал готовить вторую книгу. Иногда мне казалось, что она рождается сама собой, не обращая внимания на волю авторов.

В 1941 году участники описываемых событий были детьми и подростками. Кому-то уже исполнилось 15 лет, и он с автоматом в руках воевал в партизанском отряде. А кому-то едва набежал один год, и войну он помнит по свежим воспоминаниям матери или старшего брата. В заголовках рассказов указан возраст участников на начало войны. Именно в этом году закончилось их детство.

В работе мне очень помогли соавторы. Борис Денисюк, хранитель музея в одной из школ Копыльского района. Он бережно собрал и сохранил воспоминания «детей войны» со всей округи. И Богдана Потехина, талантливая девушка из России.

Собранные ими рассказы вошли в этот сборник.

Павел Гушинец

Иосиф (15 лет)

Иосиф Михайлович Черненко (д. Красный Берег Жлобинского района – д. Туча Клеецкого района)

Мы жили в деревне Красный Берег Жлобинского района. Отец – машинист на поезде, мать – мастер на вареньеварочном заводе. Был когда-то в Красном берегу такой завод, он и теперь остался, только называется по-другому. Кроме меня, в семье было ещё два сына, старший Олег и средний Франек.

В 1927 году, когда мне исполнилось всего полгода, на полустанке Хальч в Буда-Кошелёвском районе случилась авария. Отец погиб, и мать осталась одна с тремя пацанами на руках. Работала день и ночь, получала небольшую пенсию за отца (14 рублей 45 копеек), ещё деньгами и дровами помогал её брат, дядя Викентий Викторович Тригубович. Денег совсем не было, часто не хватало еды, про одежду и говорить нечего. Я донашивал за братьями какие-то лохмотья.

1933 год помню хорошо. Тогда на Украине был голод, поезда оттуда шли через Красный Берег, забитые больными, оголодавшими людьми. Тех, кто умирал, складывали на крышу. А на нашей станции снимали и хоронили в больших общих могилах.

В апреле 1938 года внезапно арестовали дядю Викентия, мужа маминой сестры Владимира Дамбовского и ещё десять человек со станции. Мать тут же уволили с работы, как сестру «врага народа». Её, мастера высокой квалификации, никуда не хотели брать. Едва устроилась прачкой в сельхозтехникум. Приходили несколько раз с обыском. А что у нас искать?

В 1938-м мы поняли, что все наши невзгоды до этого времени были цветочками. Мать выбивалась из сил. Есть было нечего. Ещё и шипели на нас со всех сторон. Братья приходили из школы битые. Дети из семьи «врага народа».

Матери больно было смотреть, как мы голодаем. Она написала письмо брату отца, Дмитрию Хрисановичу. Тот был военным, офицером, служил где-то в Ленинграде. Не побоялся, приехал со своей женой Дорой Павловной. Всю ночь они с мамой разговаривали. Наутро уехали, забрав с собой Франека. Матери легче было прокормить двоих, чем троих.

Это был большой риск, но Дмитрий не побоялся. Хотя дураком не был. Переписал Франека на себя, сменил ему имя и даже отчество. Был брат Франеком Михайловичем, стал Александром Дмитриевичем. Два года брат прожил у дяди. Потом Дмитрия Хрисановича перевели во Львов. Дядя был каким-то большим военным начальником. Я уверен, он знал, что будет война. Поэтому всего за несколько месяцев до её начала отослал Франека домой. Брат приехал с новыми документами. Мать аккуратно завернула их в тряпицу и спрятала в стол. Эти документы спасли нам жизнь.

Война началась в один день. Только вчера объявили, что немцы напали на Брест, только утром у сельсовета толпились мобилизованные мужики, а уже ночью по улицам тарахтели немецкие мотоциклы. Проснулись мы при новой власти.

Братьев в армию не взяли. Франек (Александр) не подошёл по возрасту, а старший Олег ещё в детстве сильно повредил ногу. Кости неправильно срослись, поэтому одна нога была короче второй. Брат сильно хромал, не мог долго ходить.

Однако с первого дня оккупации заговорили о партизанах. Франек рвался в лес, мать плакала и не отпускала.

В Красном берегу при заводе был техникум, а в нем, как тогда было принято, комната с учебным оружием. Какое там оружие, старые, разбитые винтовки, имитация гранат. Немцам кто-то рассказал про этот «склад». Они обыскали техникум, нашли оружие. Устроили по всей деревне облаву. Хватали бывших учащихся, просто молодых парней. Попались и Франек

с Олегом, их увезли в неизвестном направлении. Полтора месяца от них не было ни единой весточки. Мать плакала в подушку, мне страшно было слышать этот её плач. Часто она оставалась посреди хаты, бросалась ко мне, сжимала изо всех сил, словно стараясь оградить последнего оставшегося сына от немцев и полицаев.

Братья вернулись грязные, вшивые, голодные. Кожа и кости, о том, где были, рассказывали мало. На их глазах расстреляли несколько учащих техникума. Братья выжили чудом.

В 1942-м рядом с нами в лесу объявился партизанский отряд. Франек ушёл сразу. Олег был у них связным. «Кульгаў» между деревнями, собирал сведения, передавал брату.

Какая-то сволочь полицейская решила выслужиться перед фашистами, подсказала, что Франек в партизанах. Немцы ввалились ночью, забрали маму, утащили в сельсовет. Били, допытывались, где сын.

А мать отвечала, что сын давно погиб. А жил с ней в хате не сын вовсе, а дальний родственник Александр Дмитриевич. То ли племянник, то ли ещё какая седьмая вода на киселе. Пожил и ушёл. А мы за него не в ответе. А полицаи про сына всё врут. У нас и документы есть.

Послали за документами. Всё верно. Черненко Александр Дмитриевич. И никакого Франека. Ещё и староста нам помог. Он был хороший человек, держал связь с партизанами. Вступился за мать, да и документы подтвердили. Чудом отстали от нас.

3 февраля 1943 года мы спали. Грохочут в двери, чуть не выбивают. Мать накинула на себя что-то, бегом открывать. Входят трое немцев. Здоровенные, под потолок. Ещё помню, у каждого на шее гривна была блестящая. Свет керосинки в этой гривне отражался, а над гривной – не лица, а провалы тёмные. Едва дали нам одеться, выволокли на улицу. Сначала согнали всех в соседской хате, продержали сутки в страшной тесноте. Потом перевели в телятник, что на станции Красный Берег. На станции погрузили в вагоны, перевезли в Бобруйск. Там уже много народа было, собирали со всей окрестности. Затолкали за стены Бобруйской крепости. Все вперемешку – женщины, старики, дети. Мороз, голод. Снег со стен собирали, топили в ладонях, дети потом слизывали.

Большая проблема – оправиться. Народу так много, что стоять негде. Мужики кое-как устраивались по углам, а женщинам как? Молодые девушки не от голода рыдали, от стыда. Несколько женщин с ума сошли, бросались на охранников. Их тут же расстреливали.

Через некоторое время нас разделили. Мать с братом в одну сторону, меня с другими хлопцами моего возраста – в другую. Снова в вагоны, повезли.

Сначала выгрузили в Польше, неподалёку от Кракова. Отвезли на угольную шахту. Работали много, кормили плохо. План был такой, что взрослый здоровый человек едва мог выполнить. А мы, пацаны, и вовсе из сил выбивались. Не выполнил план – половину пайка не дадут. Вместе со мной работали Сергей Чернов, Иван Вербицкий. Поддерживали друг друга, надеялись выжить.

Среди тех, кто работал на шахте, было много французов, поляков. Французам приходили посылки от Красного Креста, их не били, работали они меньше. С поляками тоже получше обходились. А с нами, с советскими, как с животными. И не важно, украинец, русский, белорус или татарин. Советский, значит, не человек.

Французы сначала пытались нас подкармливать. Но немцы наказали нескольких из них и помогать перестали. Мне трудно их винить. Кто бы стал рисковать жизнью ради незнакомых чужих пацанов, когда дома семья ждёт?

Ближе к концу войны нас перевели в Германию, под Эссен. Снова в шахту. Уходили под землю затемно, выходили уже ночью. Неделями света не видели. Ещё постоянно бомбили, днём и ночью. Летит где-то в небе чёрточка, едва видная, с мизинец. И тут – рёв, грохот, свист, земля дыбом. Бомбу бросил. Или несколько самолётов летят – бомбят широкой полосой. Это американцы и англичане взрывали заводы Круппа в Эссене.

В шахте нечем дышать, везде угольная пыль, которая забивает лёгкие, оседает на лице, руках толстым слоем. Еды почти не давали. С утра тонкий кусочек хлеба из опилок, в обед под землю спускали бидоны с какой-то бурдой из невытой свеклы. Ешь это варево, и песок на зубах скрипит.

Меня с Сергеем Черновым определили на дополнительную работу. Кухня располагалась в городе, и надо было на шахты таскать бидоны с варевом. Погрузим на тележки эти бидоны и тащим через три улицы. Как-то приехали к кухне, а там на куче отбросов валяются кости и порубленный конский череп. И большая собака грызёт кость. Мы с Сергеем бросились у собаки кость отнимать. Она огрызалась, кусала нас, лаяла. Собака большая, сильная, а мы едва ноги таскаем. Отбили по кусочку черепа, сидели обсасывали. А эта тварь рядом сидела, урчала, грызла.

Не люблю собак.

Мы совсем оголодали, едва ноги тягали, о выполнении плана и разговора не шло. Так нам и половину тарелки этого свекольного варева не давали. Измучились так, что решили бежать. Однажды днём выбрались из шахты через боковой выход – и что было сил к лесу.

Да куда там. Бежать сил нет. Языка не знаем, еды с собой не взяли, местность незнакомая. Сами грязные, лица как у негров чёрные. Через полдня поймали нас полицейские. Долго били, норовили попасть сапогами в живот, по голове. Потом забросили в фургон и отправили в Дахау. Умирать.

В лагере затолкали меня в барак. Устроился кое-как в уголке на нарах. Лежал весь избитый, кровь шла из носа, из ушей. А жаловаться некому, все вокруг такие же измученные, избитые.

Утром приходили в барак охранники, поднимали нас криками и дубинками. Кто не поднимался – тех выволакивали в крематорий. Труба его дымила днём и ночью. Еды не давали совсем.

Каждое утро я находил в себе силы подняться. Но понимал, что ещё пара дней – и всё, не встану.

На четвёртый день слышим – стрельба за стеной барака. Крики, беготня. Выбрались из барака, а возле ворот стоит «виллис» с белой звездой. Американцы нас освободили.

Вывели из лагеря, поселили в городке. Наш барак разместили в бывшей школе. Дали оцинкованный ящик галет, во дворе повар-негр варил нам баланду. Нам эта баланда показалась вкуснее самых изысканных кушаний. Негр был весёлый, шутил, что-то говорил всё время, хохотал, показывая огромные белые зубы. Раз подшутить решил. Взял булку белого хлеба и жал сильно, спрятал в ладонях. Я кричу:

– Что ты делаешь, дурак?! Это же хлеб.

А он хохочет, руки отпускает, и хлеб распрямляется.

Американцы к нам хорошо относились, разговаривали. Потом на несколько дней американцев сменили англичане. Вот те уже держались высокомерно, сторонились, брезговали.

Несколько дней нас откармливали, потом приехал на машине наш, советский капитан. Я тогда в первый раз увидел форму с погонами. Капитан начал нас расспрашивать, сортировать. Сказал, что всех советских скоро перевезут на нашу территорию.

Перевезли и начали допрашивать. Кто по своей воле сдался, кого забрали в плен. Бить не били, но допрашивали сильно. Многих увозили в неизвестном направлении.

Мне повезло. Когда немцы меня забирали, мне и пятнадцати не было. Так погрозили только, но домой не пустили. Оставили служить в армии.

Служил я в 90-й стрелковой дивизии в 214-м артиллерийском полку. Там меня тоже долго допрашивали особисты, не верили. Сначала определили ездовым на батарею. Я был худой, тонкий, едва ходил и боялся лошадей боялся. Привык потихоньку. Служил честно, ста-

рался искупить службой свою вину. Хотя какая тут вина, меня кто-то спрашивал, хочу ли я на немецкой шахте работать?

Через некоторое время нашу дивизию расформировали и артиллеристов перевели в Прикарпатский военный округ в Староконстантинов и Шепетовку. Меня определили в 1036-й Краснознамённый полк в гаубичную батарею. Там начали учить. Сперва определили заряжающим, потом наводчиком. Демобилизовался в 1950-м младшим сержантом.

Ещё когда служил, мне за отличную учёбу дали десять дней отпуска. Со страхом поехал домой. Ожидал увидеть пепелище. Оказалось, что все мои выжили. Олег успел по дороге спрятаться, его даже не угнали в Германию.

Олег окончил техникум, работал механиком-агрономом. Его отправили работать в деревню Туча Клецкого района. Он переехали и забрал мать. Когда я демобилизовался – тоже приехал в Тучу. Туда же после десяти лет лагерей вернулся дядя Викентий.

Тогда в каждой деревне были радиоточки и радисты. И меня отправили учиться на радиста в Бабиничское совхозное училище в Оршанском районе. Там познакомился с будущей женой Олей. Записались мы ещё в училище. Свадьбы не было. Взяли бутылку вина, сели с друзьями, выпили. Вот и весь праздник.

Через три года Олег отработал на заводе и вернулся в Красный. Я остался в Туче. Мы с Олей поставили койку в комнате, где у меня рация стояла. Там и жили, там и сына Дмитрия родили.

Звонят мне из Красного Берега:

– Срочно приезжай, брат Александр приехал.

Бросился я на станцию, с 1942 года брата не видел. От вокзала шла улица Кооперативная. Я по ней бегу к дому матери, а навстречу мне мужчина незнакомый. Городской, солидный.

– Дай, – говорит, – закурить.

– Я, – отвечаю, – некурящий.

А он не отстаёт, дорогу мне перегородил.

– Дай, закурить, и всё тут!

– Уйди, мил человек, – молю я. – Тороплюсь.

А он посмотрел на меня серьёзно:

– Что ты, Юзик, меня не узнаёшь?

Пригляделся я, а это Франек. Пошутить решил.

Обнялись мы на улице. Пошли домой. Сидели всю ночь, вспоминали. Он про то, как в партизанах был, я про шахту, лагерь. Плакали.

Много лет прошло после окончания войны, однажды в нашем кинотеатре показывали новый фильм «Судьба человека». Пошёл и я. И не смог досидеть до конца. Увидел сцену, где Андрей Соколов после «угощения» коменданта лагеря заходит в барак. А там – до боли знакомые нары. И люди на них в несколько рядов лежат. Три дня я лежал на таких нарах и смотрел в узкое окошко на трубу крематория. И понимал, что если утром не встану, не найду в себе силы подняться по команде охранников, то лететь моему пеплу в эту трубу.

Затряслись у меня руки, часто забило сердце. Встал я тогда и вышел из кинотеатра. Никогда больше этот фильм не пересматривал, хотя односельчане очень его хвалили.

В 1990-е годы нас, узников и угнанных, отыскивали немцы. Несколько раз выдавали нам небольшие суммы дойчмарками, откупались. Прощения просили.

Бог им всем судья.

От сотрудников музея:

В годы войны с территории Клецкого района было вывезено в Германию 903 человека. 169 узников лагерей до сих пор проживают в деревнях Клетчины.

Света (1 год)

Светлана Ивановна Астрейко (Рудник) (д. Слобода-Кучинка Копыльского района – д. Селютичи Житковичского района, Беларусь)

До войны мы жили в местечке Копаткевичи под Гомелем. Отец работал на мебельной фабрике, поэтому в доме было много мебели, он сам её делал. Старшие рассказывали, что строили из табуретов целые крепости, играли. Бывает, поломают что-нибудь, мать их бранит, а отец придёт с работы – смеётся:

– Ничего, пусть ломают. Ещё сделаю.

Утром объявили – война. Сразу же прилетели самолёты, начали бомбить железнодорожные пути. А мы жили рядом с узловой станцией, где пересекалось восемь путей. За окном – постоянные взрывы, осколки падают во дворе, впиваются в стены. Немцы бомбили пути и станцию, чтоб не успели ничего ввезти. Мы бегали по двору, как испуганные цыплята. Никаких бомбоубежищ или глубоких подвалов не было. Куда прятаться? Издалека гудит самолёт, летит на станцию, оттуда грохот, взрывы. А горячие острые осколки свистят совсем рядом. И уже лежит на дороге убитая ими собака, и уже кричит где-то неподалёку раненый.

В один день всех мужчин собрали и увезли на призывной пункт в райцентр Петриков. Многодетных потом вернули. У моего отца было семеро, да у брата его Фёдора тоже семеро. Так сказали им – идите домой, а остальных забрали.

На следующее утро отец не пошёл на работу. Это было непривычно. И так страшно, что все дети сидели, словно мышки в своём углу. Семеро детей, и хоть бы один писк.

Отец сидел на кухне, опустив голову. Смотрел на свои руки, молчал. Мать постоянно плакала. Ближе к вечеру пришёл дядя Фёдор, и они с отцом ушли разговаривать на улицу.

Немцы явились через несколько дней. По дороге шли и шли гружёные машины, танки, бесконечным потоком катили мотоциклисты. Небо гудело от самолётов.

Колонна за колонной везли пленных, сразу же доставили колючую проволоку, столбы, цемент. Строили большой лагерь для пленных. Собирали туда солдат, которых хватили на дорогах. Их много тогда было, они возвращались домой из разбитых в боях частей.

Там, за проволокой, их было набито страшное количество. Много раненых, больных. Не только русские были, но и украинцы, белорусы, кавказцы... Какие-то азиаты были, которые по-русски плохо говорили. Кормили их плохо. Выкапывали возле лагеря бурты, оттуда вилами в котлы накидывали картошку, бураки, кое-как варили и этим их кормили. Какая-то бурая каша пополам с землёй получалась. Но люди ели, им не хватало и этого.

От плохой пищи начинались болезни. У многих был кровавый понос. Умирали десятками. Утром немцы глянут через проволоку, заметят заметив неподвижные тела, и приказывают тащить их к выходу. Пленные несут своих товарищей, забивают ими грузовики... Потом их отвезут и сбросят в большие ямы. А сверху – трактором.

Отца почти сразу же забрали в этот лагерь. Никто не поверил, что он не воевал, что его оставили из-за многодетности. Мать собрала нас, всех детей, пришла к лагерю. Начала просить охранников:

– Отпустите вы его! Он же ни в чём не виноват!

Отец как-то узнал, что она пришла. Выбежал к проволоке, руками на неё замахал:

– Уходи! Уходи, они тут этого не любят!

Мать заплакала, но ушла.

Вскоре отца перевели в другой лагерь, в Чернигов. Там они с товарищами подрыли землю и сбежали через лаз. Им вслед стреляли охранники, спустили собак. Но сбежать удалось всем.

Месяц отец добирался домой. Шёл ночами, а днём отлёживался в лесу в кустах. Иногда заходил в деревню, его кормили, прятали. Никто – ни украинцы, ни белорусы – не сдал немцам.

Отец пришёл сухой, как щепка. Вши бегали на нём табунами, хоть лопатой гребли. Он поскребся в окно, а мать больше сердцем почуяла, чем услышала. Открыла, вцепилась в него, несмотря на грязь и вшей.

Немцы тогда у нас всю хозяйничали. В школе устроили комендатуру. Как стемнеет, запрещали ходить по улице, жечь в доме огонь. Но мать зажгла в подполе крохотную свечку, устроила отца там. Долго мы его прятали. В деревне было много предателей, тех, кто за лишнюю подачку готовы были всё что угодно сделать. Отец распух весь, особенно ноги, как колода, ходил он с трудом. Как немного поправился – перебрался в лес. Собрал вокруг себя таких же подпольщиков. Они взрывали пути, устраивали диверсии на фабрике, потом вышли на партизан.

Партизаны в наших краях действовали активно. Освобождали целые районы, восстанавливали там колхозы, советскую власть. На оккупированных территориях было много партизанских информаторов, которые предупреждали, если немцы готовили какие-то операции.

Вот так однажды приезжают к нам в село и говорят: «Уходите все в лес. Готовьте землянки, прячьте продукты. Немцы собирают силы, будут жечь деревню в округе, и вы первые». Помогли с транспортом, мы вывезли всё, что могли, накопили землянок. Но в лес уходить не торопились, всё-таки холодно там, неудобно. А тут родные хаты.

Дежурили по очереди на дороге. Если немцы появятся, дежурный должен был бежать и кричать, тогда все ушли бы в лес. Мать тоже ходила, но её прогоняли:

– Засмотришься на дитя, пропустишь немцев.

Но мать боялась, что соседи сами сбегут, а её бросят, не предупредят. Поэтому – меня за пазуху и тоже ходила на дорогу.

Как-то так стоят, дежурят. А тут подходит сосед с велосипедом. Говорит:

– Идите вы по домам, я съезжу посмотрю, что там.

Поехал. И сотни шагов не проехал, смотрят – упал и лежит недвижно. И – эхо выстрела. Оказывается, немцы уже недалеко, к деревне цепью идут. Впереди солдаты, полицаи, за ними – техника.

Мать в доме, на столе держала документы, чтоб сразу схватить, если что. Даже те документы не успела подхватить. Детей, босых, голых, – в окно и бежать к лесу.

Немцы увидели бегущих, давай стрелять вслед. Мотоциклы завели, ревут. С мамой рядом бежала женщина с дитём на руках, так пуля попала ей в спину. Женщина упала мертвая, ребёнок с криком покатился по земле. Никто не подобрал. Самим бы убежать.

Сразу дома подожгли, они занялись, как спички.

Уже до леса мы добежали, прячемся среди деревьев от пуль. А каратели за нами, кого догонят – тут же стреляют. Добежали мы до землянок, да только и там нас нашли. Мать загнала нас в землянку, а там уже сидели соседские дети. Тринадцать человек собралась – мать четырнадцатая. Укрыла, кого могла, собой, затаилась.

Слышим, ходят по лесу. Отыскали землянку – крик поднялся. Один выстрел, второй, очередь из автомата. И тишина. Убили всех. Следующую землянку ищут.

В нашу землянку солдат зашел. Обычный мужик, только в форме чужой. Мать тогда подумала: «Всё, смерть пришла». А он тронул её за плечо, показывает: «Сидите тихо, а то придут ЭТИ». И показывает на шевроне крест. Да дети и сами все поняли, затаились. Солдат вышел, выстрелил несколько раз в воздух. К нему кто-то подошёл, спросил. Тот, видно, ответил, что убил всех. Не стали проверять, дальше ушли. Мать потом молилась за этого солдата. Он не только нас спас.

От всей деревни только четыре семьи осталось. Три землянки то ли не нашли, то ли тоже, как нас, солдаты пожалели.

День и ночь мы потом сидели, прятались. Как затихло всё, вышли. Копали ложками, ножами могилки неглубокие, стягивали туда убитых. Копали молча, даже дети не плакали над матерями. Присыпали их землёй, чтобы только лица закрыть.

Куда идти? Землянки наши раскрыты, запасов не осталось. Пошли обратно в деревню. Тела на улицах, пепелище, обгорелые печи... Крайние хаты уцелели, так мы все в них набились. Тесно было, душно, а ещё очень страшно. Но поддерживали друг друга.

Женщины ходили по деревне, копались на пепелищах. То чугунок принесут уцелевший, то топор без топорща, то гвоздей пригоршню. То кости найдут, поплачут и втайне от нас, детей, закопают.

Кое-как продержались.

Потом партизаны пришли, и были долгие бои за наш район. Немцев выбили, вернули советскую власть. Они приходили к нам, помогали. Но у самих мало припасов было, делились последним.

Немцы отступали – пожгли поля, зерно. Мы ходили по полям, собирали по горсточке, по колоску обугленные зёрнышки. Варили из них жидкую похлёбку.

А как-то случилась у нас большая радость. Из леса вместе с партизанами вышел отец. Они встречали Рокоссовского. Командующий ехал с Любани через наши края. Остановливался, расспрашивал. Заглянул к нам. Увидел выжившие партизанские семьи, мать с кучей своих и чужих детей. Приказал поставить на довольствие.

Потом переселили нас в Копыль, отдали конюшню, чтоб было где жить. Отец приходил с отряда, поставил нам буржуйку.

Через некоторое время немцам надоело, что партизаны хозяйничают у них под боком. Опять начались бои. Просыпаемся как-то, а на дороге опять немцы. Снова, получается, мы в оккупации.

У отца был брат, ему в войну только 16 стукнуло. Они вдвоём решили вывезти мать с оккупированной территории в партизанскую зону. А как из Копыля выйти? Как по дороге проехать? Кругом посты, патрули. Нужны документы, пропуска, а их не дают. Мать пошла в комендатуру, наплела с три короба, мол, у неё мать больная в Любани, дайте пропуск, наведать надо. Немцы тоже не дураки. Пропуск дали только один. Мол, куда ты без детей денешься, вернёшься.

Брат отца приехал на телеге. За его спиной стояли несколько куфаров (сундуков). Посадили детей по этим сундукам, тряпьем завалили. Поехали.

Первый пост. К нему очередь из телег, впереди дядька с сеном. Полицай проверяет дотошно, не спрятался ли там кто-нибудь, тыкает вилами в сено. У матери сердце колотится, только бы никто из детей голоса не подал. Пропустили, дошли до нашей телеги.

– Документы! – хмуро рявкает полицай.

Мать с дядькой подают пропуска.

– Что в сундуках?

– Одежка старая, – мать подпускает слезу в голос. – Мать у меня хворая, ей надо. И на продажу. Еда совсем кончилась.

Полицай приоткрывает крышку одного из сундуков. Видит старое тряпье, рваное, в каких-то пятнах, брезгливо морщит нос.

– Проезжайте!

На втором посту немцы. Тоже заглянули в сундук, плюнули. Что-то между собой поговорили о свиньях, которые эту одежду носить будут. А мать молится, чтоб никто из детей в пыли одежной не чихнул, не кашлянул, не заплакал.

Третий пост. Сонный полицай с перевязанной щекой. Тому лень. Даже в сундуки не полез. Посмотрел документы и махнул рукой:

– Проезжайте!

Так и доехали.

Устроили нас в деревне у какой-то женщины. Она нас сильно не любила, детей много, играют, шумят. Мать ушла на работу, так хозяйка поставила у порога топоры, пилы и начала нас крапивою гонять. Мы бегаем, падаем, топоры эти цепляем. В крови все.

Мать пришла вечером – в крик. Нас сразу в охапку – и в сельсовет. Требуется:
– Дайте другой дом, а то эта злыдня мне детей погубит.

Дали пустую хату с дырявой крышей. Крыша всё время текла, стекла выбиты, фанерой закрыты. Мы вечером, поставив на стол керосинку, учили уроки...

До нас в этом доме полицаи жил. Страшный был человек. У женщин серьги прямо из ушей вырывал, с мясом и кровью. Отдавал хозяевам своим, как собака. Партизаны, как деревню заняли, его сразу к стенке. Мать очень боялась, что придут родственники полицаи, отомстят новым жильцам: хату подожгут или детей обидят.

Потом потихоньку начали строить свой дом. Рубить в лесу нельзя было, штрафовали. Так мы ночью поедем в лес, дерево срубим, тащим бревно во двор. За ночь по бревну и получалось.

Жили тяжело. Война грохотала где-то далеко, но казалось, что она никогда не кончится, что не вернутся домой мужчины, что дети вырастут сиротами, будет висеть постоянно над нашими головами страх перед гудящими самолётами.

Но мы выжили, и война кончилась.

После был страшный голод, хуже, чем в военные годы. Картошку гниющую по полям собирали и ели, кору варили, лебеду. Сестра моя Ева уже в 13 лет бросила школу, пошла работать дояркой.

Председатель разрешил нам приходиться пить молоко. Только просил с собой не брать, иначе и его и нас посадят. Порядки были строгие. Мы придём, сестра нальет нам по большой кружке молока, мы сидим и пьём мелкими глоточками. И не хочется уже, а мы пьём, потому что это – еда, это – жизнь. Животы раздуются, булькает внутри. Зато голод отступает.

Мы тоже с малолетства работали. Пасли скот, помогали взрослым. В школу ходили по очереди. Вскоре так решили. Трое старших школу оставили, пошли работать. Трое младших остались учиться.

Сестра моя Рудник Ева Ивановна стала потом депутатом, получила много наград.

У нас ничего не было. Ни еды, ни одежды. Брат уехал за копейкой на Донбасс, потом перебрался поближе, в Витебск.

Брат Евгений выучился на тракториста, уехал в Калининград. Там они после войны разгребали завалы. Зашли в один подвал, засыпанный рухнувшими стенами, а там продукты на стеллажах, консервы, мешки с мукой, бутылки какие-то. И солдат немецкий сидит с винтовкой.

Испугались, бросились обратно. Смотрят, а он не шевелится. Умер давно. Замёрз, наверное, зимой, или от болезни какой-то. Прислонился спиной к стене и застыл. Брат с товарищем осторожно вытащили тело во двор. Собрались рабочие с бригады. Кто-то предлагал тело сжечь, кто-то раздавить трактором и размазать по земле. Пришёл бригадир, приказал:

– Возьмите носилки, отнесите на кладбище. Там целый участок есть, где его земляки похоронены. Положите рядом. Мы с мёртвыми не воюем.

Зерно со вкусом войны Майя (6 лет)

Майя Михайловна Маскалькова (г. Копыль – г. Глуск Бобруйской области, Беларусь)

Мы жили в городе Глуске, тогда это была Бобруйская область, сейчас Могилёвская. Отец, мать, трое детей. Я – старшая, мне уже шесть лет, двум братьям – два года и шесть месяцев. Жили в самом центре, школа через дорогу.

В первый же день, как война началась, в той школе открыли пункт призыва. Отец обнял нас по очереди, перешёл дорогу – и больше мы его никогда не видели. И не слышали, что с ним случилось. Погиб в начале войны, почти в первом бою.

Мать осталась одна с тремя малолетними детьми. Немцы всё ближе, слухи страшные ходят, наша армия отступает. Мать испугалась, «клунки» на плечи, Вовку за руку, Лёню на руки подхватила, да я в юбку вцепилась. И пошли, куда глаза глядят, на восток. Подальше от немцев, от страха этого. Тогда ещё верили, что наши быстро немцев остановят. День, два – и покатаются назад, выгонят врага с родной земли. Поэтому мы не одни бежали. Все дороги были забиты телегами, грузовиками. Люди шли огромными толпами. Кто-то тележки катил, кто-то чемоданы в руках нёс. И все – на восток, на восток... А немцы сзади, и вокруг, и над нами. Самолёты режут, где-то грохочет.

Мы ещё поначалу непуганные были. Ну, летит самолёт, и летит. Но вот один пролетел, второй. А третий развернулся – и из пулемётов по толпе. А толпа плотная, дети, женщины. Крики, раненые, кровь... Бросились врассыпную, ещё и потоптали упавших. А самолёт на второй круг заходит, стреляет по убегающим, гоняется за людьми. Что думал тот нечеловек, что в тот момент в том самолёте сидел? Думал ли что-то вообще?

Часа не прошло – ещё несколько летят. Мы сразу бежать, а они прошли над дорогой и давай бомбить. Опять раненые, опять крики, земля в разные стороны. Толпа большая, не все успели убежать. Лошади на дыбы встали, бьются в оглоблях, телеги опрокидывают, и от этого ещё большая неразбериха.

Самолёты пролетели – мы опять к дороге. А что делать, идти-то надо от тех нелюдей, что по мирной толпе из пулемётов да бомбами. Что ж они тогда за нашими спинами делают? Оставляют ли кого в живых? Пошли дальше. Всё по сторонам смотрели. Как увидим издали, что самолёт летит, сразу бежать от дороги. Пешим хорошо: отбежим, попадаем в кустах-канавках друг на друга, нас среди деревьев и не видно. А вот тем, кто на телегах ехал, выбирать пришлось. Кто-то коня выпряг, телегу с барахлом бросил и пешком пошёл. Жизнь дороже.

Несколько дней так шли. У матери еда кончилась, мы с Вовкой плачем, устали, страшно нам. Добрели до какой-то деревни, присели у колодца. Вышла женщина, привела нас в свой дом, накормила, да и с собой дала.

Я мало что с этой дороги помню. Помню, ноги очень болели и жарко было. И спрашивала у мамы, далеко ли ещё, а она молчала. Сейчас жалею, что позже не расспросила её про эту дорогу. А сейчас поздно: мама умерла, рассказать некому.

Помню, сидим мы где-то в лесу на большой поляне, а рядом с матерью стоит высокий мужчина в черной шапке и сапогах. Он варит что-то на костре в ведре. Наливает нам с братом по очереди в жестяную миску. Миска жжёт руки, обжигает губы, язык, но мы пьём это ароматное варево, потому что очень кушать хочется.

Пришла женщина с ближайшего хутора. Забрала нас. Привел домой, усадила за стол. Достала из подпола холодное топлёное молоко, масло в «гладыше» (стеклянная банка). Кормила нас, переночевать разрешила. Сколько лет прошло, а я помню запах этого топлёного

молока. И как Вовка масло ел прямо руками, без хлеба. Давился, но ел. А хуторянка смотрела на него и ничего не говорила, хотя он чавкал и руки о штаны вытирал.

Как же я благодарна всем этим людям. Я не знаю их имён, не помню названий деревень. Но они были свои, родные. Не давали нам пропасть.

Ещё помню, остановились у какого-то старика. Он маме сказал:

– Дети твои совсем слабые, еды у вас нет. Не дойдут, не выживут. И мне дать нечего. Ты сходи за околицу, там войска наши, когда отступали, зерно сожгли. Ты набери остатки в мешочек, хоть что-то будет.

Мать так и сделала. Собрала эти зернышки с угольками и землёй вперемешку. Они кое-как просеяли, отсыпали в мешочек. Мать жевала эти зерна, заворачивала в тряпицу и давала нам на ходу сосать эту соску. Так и шли.

В лесу наткнулись на партизан. Я сейчас думаю, что это ещё не совсем партизаны были. Какая-то часть красноармейская, что из окружения выбраться не смогла и решила в лесах остаться. Они потом стали партизанским отрядом. На поляне – целый табор. Семьи беженцев, красноармейцы с оружием. Шум, тесно. Спали вповалку прямо на земле, ели, что придётся. О том, чтоб помыться где-то, даже не думали.

Военные соберутся тихонько, сходят на разведку. Потом сидят, молчат. А нам и спрашивать страшно. Понятно, что всё плохо.

До осени с ними жили, кое-как перебивались.

А осенью нас командир отряда собрал и говорит:

– Вот что, бабоньки. Зима на носу. Жить негде, есть нечего. Ещё и вы на мою шею. Что я с вами в морозы делать буду? Короче, у кого родственники в деревнях есть или дома целы, идите-ка вы домой. Иначе не переживём мы зиму с этим детским садом.

Что нам оставалось делать? Пошли мы с мамой обратно в Глуск. А вокруг уже немцы. Кругом мотоциклисты, машины ревут, колонны по дорогам пылят. Мама красивая была, немцы гоготали ей вслед, свистели. Мама каждый раз от страха замирала, стискивала мою руку. Но уберёт нас Бог, дошли.

Дом, в котором мы жили, раньше местному помещику принадлежал. Целых пять комнат, высокие потолки. Чудо какое-то, что немцы его не заняли. Их много было в Глуске, хозяйничали, выкидывали хозяев на улицу, выселяли в курятники и сараи, сами занимали дома. Наш дом им почему-то не приглянулся.

Жили мы, как мыши под веником. Лишний раз на улицу выйти боялись, по комнатам на цыпочках ходили.

Как-то утром стучит к нам в окно полицай, говорит, чтоб завтра в полдень все были в центре, на площади. Кто не придёт – того накажут.

Пришлось идти. Даже младшего брата взяли, не оставишь же его одного в доме. На площади уже полно народа. Немцы стоят цепью, теснят нас от самого центра в переулки. Прямо на земле стоит трибуна, на трибуне – офицер. Мы стоим, тесно, душно, того и гляди затопчут. Офицер посмотрел на нас с презрением и начал речь. Говорил по-немецки, но рядом полицай стоял, переводил. Что-то там про освобождение нас от коммунистов, о том, чтоб не помогали партизанам. Долго говорил, неторопливо. Мы стоим, пошевелиться боимся, потому что прямо в лица смотрят дула карабинов. И немцы смотрят поверх голов равнодушными пустыми взглядами.

Офицер договорил, махнул рукой, и на площадь стали выводить евреев. В Глуске их до войн много жило. И соседи наши были евреями, и учителя в школе. Выводили маленькими группами, ставили к стене и на наших глазах расстреливали. Потом следующих подводили. После четвёртого-пятого залпа новым уже становиться негде было. Их толкали, они спотыкались, падали на тела. Мы смотрим. В толпе тишина. Кто-то из баб сзади всхлипывает – и всё. Евреи тоже молчат. Немцы как машины: вывели, поставили, выстрелили.

Один парень молодой испугался, закричал, бросился в сторону. Там берёза стояла, так он начал по стволу вверх карабкаться. Обезумел от страха. Солдат подошёл снизу, прицелился, выстрелил и парень мешком свалился вниз. Его оттащили в общую кучу тел.

Когда стреляли – мама нас к себе лицами прижимала, чтоб не смотрели. Но мы всё равно смотрели. И запоминали.

В Копыле жил мамин отец наш дед Быстрицкий Иван Матвеевич. В начале войны немцы разорили в Копыле колхозную конюшню, но коней забирать не стали. Раздали по семьям – одна лошадь на два двора с условием, что если понадобится, мужики с конями и возами должны быть по первому требованию. И дед договорился с соседом, они запрягли этого коня в воз и приехали за нами.

Пожитков у нас набралось негусто. Несколько узлов с тряпками, какие-то тарелки, чугунки. Мать даже дом запирает не стала. Зачем? Если кому-то будет нужно – дверь сломают.

Ехали через Бобруйск и Старые Дороги. Постоянно останавливали, проверяли документы. Несколько раз полицаи копались в тряпках на возу, искали оружие, листовки. Такое помню. Едем мимо разбитого магазина в Бобруйске, а в окне стоит кукла. У меня никогда такой не было. Красивая. Я кричу:

– Мама, мама! Там кукла, давай заберём!

А мать меня к себе прижимает и не отпускает. А мне так жалко этой куклы, прямо до слёз. Дети странное запоминают, о странном жалеют. Вот я эту куклу навсегда запомнила. Во сне она мне снилась.

Ещё помню, как переезжали реку, и воз застрял в грязи. Дед нас поднял на руки и вынес на берег. Потом узлы перетаскал. Привязал верёвку к берёзе и вытащил воз вместе с лошастью.

Приехали в Копыль, стали жить у деда. Мать с дедом работали в поле, приходили поздно уставшие. Мы целый день дома одни. Я за братьями присматривала, командовала.

Сосед, с которым дед делил коня, был человек неплохой. У него сын подрастал Митька. Ему лет пятнадцать на начало войны стукнуло. Когда оккупировали, Митьку забрали в полицаи. Сейчас можно много рассуждать, мол, почему в лес не убежал к партизанам, почему полицаем стал? А его не спрашивали. Забрали как-то днём, сунули в руки винтовку – служи! Не нам его теперь судить. Тогда многих так забирали. И выбор у тебя – либо твоя жизнь, либо служба на врага.

Один из этих полицаев спас нас однажды. Вместе с мамой у деда жила её сестра, тётя Варвара. Помню, мы сидим, завтракаем, как вдруг полицай в окно стучит. Говорит шепотом: «Бегите быстрее, немцы сегодня начнут молодёжь собирать, чтобы в Германию угонять. Тётя Варя у них в списках».

Мы побросали ложки, забегали. Что делать? Дед тётку за шиворот – и в гумно. А там снопов немолотых – до потолка. Устроил ей среди снопов нору, туда бросили еды, воды во фляге, тряпок каких-то.

– Сиди, – сказал, – и чтоб не звука.

Полицаи на следующий день рано утром явились. Подняли нас с постелей, шарят по хате, Варю ищут. Кричат на деда, на маму. Братья режут. Я стою босиком на холодном полу – мне страшно. Полицаи пошумели, покричали и пошли других забирать.

Тётя Варя целый месяц в норе среди снопов сидела. Мама ночью выйдет тихонько, еды ей отнесёт. А полицаи ещё несколько раз Варю искали. И среди ночи приходили. Вынесут двери, ворвутся в хату, шарят под кроватями и в шкафу. Детей трясли, допрашивали: «Где тётка?!»

Мать им кричала, что тётя Варя заболела и уехала в Слуцк в больницу. Не верили, но Варю так и не нашли. В тот месяц из Копыля сотнями молодёжь увозили. Многие больше никогда не вернулись.

Потихоньку привыкли к немцам. Человек ко всему привыкает. Мы, дети, бегали везде, всё нам было интересно. Помню, на площади виселицы стояли. Туда постоянно вешали пар-

тизан и тех, кто им помогал. Бежишь по своим делам, а на ветру тело качается. И табличка на груди: «Он помогал партизанам». Руки у мертвеца связаны, босые ноги по дощатому настилу скребнут. Лицо страшное. Отвернёшься и бежишь мимо.

Партизаны немцев сильно доставали. То поезд под откос пустят, то застрелят кого из солдат. У стены райисполкома немцев хоронили. Даже помню одного офицера в форме и с наградой. Он какой-то заслуженный у них был, потому что салют устроили. В небо из винтовок стреляли. Потом по хатам долго ходили, всех обыскивали.

Про коня нашего ещё расскажу. Дед с соседом так уговорились: неделю – конь у деда, неделю – у соседа. Как-то в середине недели сосед приходит и коня ведёт.

– Ты, – говорит. – Иван, забери пока лошадку.

– Чего ты? – удивился дед. – Не моя же очередь.

– Да мне отъехать надо, – говорит сосед, а сам глаза прячет.

Дед неладное заподозрил, но промолчал. Коня забрал. А утром немцы пришли: «Собирайся, – говорят, – чтоб сейчас же с конём и возом был у комендатуры». Делать нечего. Дед помянул соседа недобрым словом, но запряг.

У комендатуры уже десяток таких, как он. Немцы грузят на возы оружие, сами садятся. Полицайи тут же. У деда на возу офицер с пулемётом примостился. По разговорам слышно, что едут в деревню Прусы. Понятно зачем. Мальчишки вокруг крутятся. Как узнали, куда едут, побежали предупредить. Только далеко до Прусов. Пока добегут, пока крик поднимут...

Тронулись. Дед первым едет, нарочно коня придерживает, тот еле плетётся. Немец заметил, начал ругаться, в спину кулаком бить. Пришлось подстегнуть коня. Доехали почти до Тимковичей, и тут Бог вмешался: что-то из упряжи у деда порвалось. Остановились. Немецкий офицер тут же в крик! А дед руками разводит, мол, не виноват я, оно само порвалось. Кинулись чинить. Возились, возились, а время-то идёт. Весь обоз стоит, ждёт. Дед опять нарочно всё медленно делает.

Короче, пока доехали – вся деревня пустая. Печи теплые, по улицам вещи валяются, кое-где ещё каша на столах. А в домах – ни души.

Офицер опять орать. Деда – к стенке. Пистолет достал, в лицо тычет, сейчас застрелит. Дед уже молится про себя, к смерти готовится. Сейчас застрелит!

Поорал немец, кулаками побил, но стрелять не стал. Уселись на возы – обратно поехали.

Дед в тот вечер домой вернулся, сел на завалинке, обмяк, ноги словно тряпичные стали. Сидел, курил без конца. Всю махорку свою скурил. И руки у него тряслись.

Как загремел за горизонтом фронт, как пошли слухи, что Копыль скоро освободят, мы пожитки собрали и всем городом в лес ушли, скотину, что осталась, с собой потащили. Боялись, что немцы озлобятся и сожгут всех или расстреляют. Лучше в лесу пересидеть. По ночам дед в город пробирался, узнавал, что да как. Пришли советские войска – мы обратно домой... Весь город в ямах, в воронках от взрывов. Дед понял, что бомбить будут, выкопал в огороде землянку. Мы туда все прятались, когда самолёты налетали. Набьёмся мы, соседи, ещё кто-то прибежит. Сидим, слушаем, как самолёты режут и бомбы падают.

А однажды по улице большой колонной пошли наши танки. То-то радости было. Мы цветы прямо из горшков рвали, бросали им. А они нам в ответ сахар.

После этих танков война для нас кончилась. Не бомбили больше – фронт дальше откатился. Начали мирно жить. Вот только про отца так и не узнали до самых двухтысячных. Только недавно выяснили, что в первом бою пропал он без вести.

АНТОН (6 лет)

Антон Иванович Гурский (д. Свинка Копыльского района – г. Минск)

Мы жили в деревне неподалёку от Копыля. Жили как все деревенские: отец работал в поле, корова у нас была, куры, земли немного. Да разве же это богатство? Кто-то из соседей позавидовал, написал на отца донос. В 1938 году приехали из города и его забрали. Мать тогда сильно убивалась, думала, что он никогда не вернётся. А отец, уезжая, обнял её и сказал:

– Ничего, это ненадолго. Там разберутся.

Затолкали его в машину – и тишина. Несколько лет ни письма, ни весточки.

Самое страшное было то, что мы не знали, кто нам позавидовал. Этот человек ходил рядом, здоровался, улыбался. И знал, что погубил нашу семью. И радовался, наверное, нашему горю.

О том, что война началась, мы не узнали. В деревне было радио, но оно поломалось и не работало. В тот день старшие ребята играли возле силосной башни и встретили военного в новенькой форме и начищенных до блеска хромовых сапогах. Они ещё удивлялись, откуда, мол, такой франт. До города десяток километров, а он будто с картинки. Словно и не пылил в своих блестящих сапогах по сельской дороге.

Военный подозвал их, начал расспрашивать. Где он и в какой стороне город. Ребята отвечали охотно, ведь думали, что он был свой, советский. Подошли ещё двое. Все в новой форме, в сапогах. За спинами винтовки. Разрешили винтовку в руках подержать, шутили. Потом попросили молока. Кто-то из ребят сбегал, принёс. Гости напились, поговорили ещё немного и заторопились в сторону города.

Уже потом, недели спустя, мы поняли, кто были эти странные «франты». В первый день войны повсюду, словно из-под земли возникали немецкие диверсанты. Подбирались к заводам и железнодорожным станциям. Взрывали, поджигали. Готовились хорошо. На нашем языке говорили чисто. Вот только с формой и сапогами не угадали, да разве ж деревенские ребята разгадали бы их.

В конце июня возле деревни на несколько дней задержалась наша отступающая часть. Отходили они спешно, едва оружие успели прихватить, а о продуктах то ли не подумали, то ли времени не хватило. Голодали. А в деревне тогда был большой молокозавод. В его подвале в холоде хранилась целая гора сыров, которые не успели отправить в город. Голодные красноармейцы пробирались в этот подвал, воровали сыр. Некоторые по глупости так наелись, что лежали больные. Их доктор бегал по деревне, спрашивая в хатах хоть какие-то трубки, клизмы, промывал им желудки: сыр забил всё внутри.

Командир отряда очень ругался, грозился расстрелять воров. Конечно, сыр-то колхозный, а они бойцы Красной Армии. Позор! Деревенские помалкивали. Они знали, что такое голод.

На следующее утро опять двое на земле лежат, стонут. Пошли ночью в подвал и тоже с голода сыра наелись. Командир разозлился ещё сильнее, приказал поставить возле молокозавода часовых.

А тут и немцы подошли. Сначала просочились небольшими группами. Там десяток, там отряд мотоциклистов. . . Возле опушки леса наши на этих мотоциклистов напали, солдат убили, а мотоциклы с колясками отогнали в лес. Им не столько мотоциклы нужны были, сколько бензин. В отряде имелась своя техника, но, когда войска отступали, пожгли всё топливо. Попробовали завести, да куда там. Два бака мотоциклов, сколько там того бензина – слёзы одни. Пришлось технику бросить, на своих двоих уходить.

Последний бой часть приняла у деревни Старица. По дороге рядом с деревней тянулась длинная колонна немцев, так наши напали на них, разбили, прогнали. Но и сами понесли большие потери. Похоронили рядом с деревней убитых и пошли дальше на восток.

После этого большие отряды возле нас не проходили. Через деревню тянулись разбитые красноармейцы. Кто поодиночке, кто небольшими группами. Разные были люди. Кто остановится, поест попросит, а кто и украдёт чего, что плохо лежит, а кто и винтовкой пригрозит, мол, отдавайте что есть! Но в основном просили. Их кормили, показывали дорогу. Свои же. Деревенские спрашивали, указывая на запад:

– Что там?

А солдаты прятали глаза и торопились дальше. Кто-то отчаивался, прятал в лесу оружие. Им тоже помогали, переодевали в деревенскую одежду.

Вскоре и немцы подошли. Стали в Копыле, до нашей деревни изредка доходили. В основном, чтобы пограбить, продукты забрать. Сыр с молокозавода в один день подчистую вывезли. Сторож наш, дед старый, только плевал вслед грузовику:

– Чтоб вы подавились этим сыром, гады.

Жалко было. Лучше бы сожгли, чем врагу достался.

Немцы обустроились по-хозяйски. Заняли чужие дома, всех евреев согнали в гетто, из местных подонков формировали отряды полицаев. И с первых же дней началось в округе партизанское движение. Сначала неорганизованное, робкое. Остались в лесу разбитые красноармейцы, не успели отступить, местные сбежали от немцев и начали по-своему сопротивляться врагу...

Наши соседи, семья Галины и Игната Богдановичей, передавали партизанам продукты питания. Их сын Ким вместе с отцом доставали со дна реки винтовки и патроны, затопленные при отступлении нашей армии. Всё это тайно передавали в лес.

Нашёлся человек... Хотя нет, этого гада у меня язык не поворачивается назвать человеком. Он донёс на Богдановичей в полицию. Осенью 1942-го года из городского посёлка Узда приехали пятеро полицаев, ворвались в дом Галины Константиновны, потребовали выдать мужа и показать, где находится партизанский отряд.

Мать дружила с Галиной. В праздники они с мужем иногда приходили к нам в гости. Старшие братья мои учились с Кимом. Мы знали Галину как тихую и сдержанную женщину. Никогда лишнего слова от неё не услышишь. Она и тут молчала. Полицаи выволокли её во двор, били прикладами, хлестали шомполами. Галина плакала от боли, стонала, но, когда её спрашивали, снова и снова молчала. Всю в крови, с растрёпанными волосами её погнали по улице на поле. Громко кричали, что если сейчас кто-то не выдаст партизан, то Галину тут же расстреляют.

Вели и всё время били. А деревенские прятались по домам, боялись выглянуть. Да и что они могли сделать? У полицаев винтовки, гранаты. А у нас? Вилы с топорами?

Спасло Галину чудо. Вывели её на другую улицу, а там целая толпа, беженцы из Минска. Убегали на восток, но заплутали на дорогах, натыкаясь на немецкие патрули. Шум, крики. Полицаи отвлеклись, бросились грабить, обыскивать беженцев, отбирать у них узлы с добром. Про Галину на миг забыли, а она тихонько отошла в сторону и бросилась в ближайший дом. Там её не прогнали, спрятали в погребе.

Полицаи нагребли добра, вспомнили про Галину. Начали ходить по деревне, кричать. Да поздно уже. А муж Галины всё это время прятался под пустым ульем у соседей. Руки себе все искусал, слышал, как жену мучали.

Уже после войны второй сын Галины Константиновны Владимир найдёт на Донбассе одного из мучителей матери, привезёт его в Беларусь. И полиция будет судить, расстреляют.

Осенью же начали угонять молодёжь в рабство в Германию. Приезжали и в нашу деревню, отобрали двадцать парней и девушек, загнали в большую хату, утром должны были везти их

на станцию. Но ночью партизаны подобрались к деревне, выломали окна и увели всех в лес. Утром было много ругани, немцы и полицаи бегали по деревне, грозились, искали беглецов. Да где их найдёшь, все в лесу давно. Так и уехали ни с чем.

Двое из деревни ушли в полицаи. Гнилые были люди, подлые и бездельники. Поманили их тем, что смогут безнаказанно отнимать у сельчан что захотят. Они и пошли.

Поздней осенью через деревню шёл большой отряд карателей. А мы уже слышали, что сделали эти каратели в Великих Прусах. Двести человек там сожгли, от деревни один пепел остался. А у нас тут и партизаны, и беспокойно в округе. Деревенские посоветались и решили на хитрость пойти.

Наловили курей, собрали яйца, тёплые вещи, вывели пару овец, с иконой и хлебом-солью вышли встречать непрошенных гостей. Немецкий офицер через переводчика сказал: «Нас нигде так не встречали, угощали только пулями». Очень был доволен. Наши потом плевались, но что поделать, жить-то хочется.

Зимой 1943-го года в деревне остановились «родионовцы». Стали ненадолго, вели себя тихо, никого не тронули. Один офицер из «родионовцев» сидел как-то в хате, со скуки листал хозяйские фотографии. Узнал на выпускной фотографии свою однокурсницу по мединституту Лиду Пархимович. Обрадовался, разговорился с её стариками, всё расспрашивал, где она и что с ней. А старики помалкивали. Потому что Лида была врачом партизанского отряда «За Родину» и в эти дни помогала раненым в лесу.

Вскоре партизанские отряды собрались в большую силу, начали серьёзно тревожить немцев. У них появилось хорошее оружие, опытные командиры, заброшенные на самолётах из России. Мой старший брат Евгений тоже не усидел дома, пошёл в отряд. Мать, плакала, просила пожалеть её и нас, младших. Но Женья твёрдо заявил, что в такой час он не может сидеть дома и смотреть, как немцы хозяйничают в округе. Ушёл.

Потом партизаны очистили от немцев небольшой район и в нашем доме устроили штаб бригады имени Ворошилова. Помогали матери с хозяйством, дрова рубили. Как-то спокойнее с ними стало, уже не ожидали каждую ночь полицаев да карателей.

А потом приблизился фронт. Загудело где-то вдалеке. По дорогам опять начали носиться мотоциклисты. Уже не такие наглые, как летом 1941-го. Двигались они теперь большими группами, всего боялись, чуть что стреляли в кусты из автоматов.

В мае 1944-го года прилетели немецкие самолёты и начали бомбить деревню. Я погнал нашу корову через реку в лес, а мама осталась спасти что-нибудь из вещей. Только успела она выскочить, как на крышу упала бомба-зажигалка. Хата наша вспыхнула, огонь поднялся до самого неба. Один из лётчиков заметил бегущих к лесу людей, не поленился развернуться и начать вдогонку стрелять из пулемётов.

...Мы бежим, а вокруг земля дыбом становится, в лицо летит. Корова наша испугалась выстрелов, вырвалась из моих рук, замычала – и в лес со всех ног. Я упал, поднялся, снова упал. Поцарапался весь, одежду порвал.

Иду по лесу и рыдаю в голос. Что я маме скажу? Как объясню, что не удержал единственную кормилицу? Зову эту дурную корову, кричу, да куда там... До темноты ходил, устал, да и свалился под кустом весь в слезах.

Утром просыпаюсь от того, что кто-то рядом топает, мычит тихонько. А это корова наша, нашла меня и стоит рядом. Вымя полное, уже давно доить пора. Как же я обрадовался! Обнимаю её, плачу в голос, целую ее грязную морду. Сам грязный, голодный, весь поцарапанный, в рваной одежде, но такой счастливый.

До конца войны мы с матерью протянули в колхозной конюшне. В 1944-м неожиданно вернулся отец. Он воевал, был ранен, с него сняли все обвинения. Сказали, что если что и было, то искупил кровью. Отец отгородил досками закуток в конюшне, слепил печку.

А там и война кончилась, мужики в деревню вернулись. Зажили мы, как прежде. Вот только разруха была, время голодное. Надо сеять, молотить, а нечего, не на чем. Всё порушено, всё сгорело, всё немцы украли. Так мужики сначала принялись колхозное хозяйство восстанавливать, а потом уж своё.

Вот и получилось, что дом наш отец только в 1950-м отстроил. Но тогда все так жили.

Везучая Валя (22 года)

Афонина Валентина (с. Пулково, сейчас южная часть Санкт-Петербурга)

На основе записей, сделанных Валентиной и найденных в семейном архиве Степана Корнеевца в 2017 году, Валя – приемная сестра его прабабушки по маминной линии.

«Мои родители умерли в 1919 году, мне только-только тогда исполнился годик. Мы с сестрой остались сиротами. Никому не были нужны, и нас отдали в приют, который находился в городе Павловск. Я и не помню его толком, слишком маленькой была.

Вскоре меня на воспитание взяли чужие люди в село Пулково Ленинградской области, я очень этому радовалась. Думала, как же мне повезло, у меня будет настоящая семья. Да еще и полная! Мама и папа! Разве всем такое счастье достается? Я точно особенная! Летала по приюту, как на крыльях, песни пела, улыбалась всем.

Жила я у этих людей до десяти лет, старалась очень быть послушной, помогать всеми силами. Но когда у них родились собственные дети, оказалось, что я им теперь не нужна. Опять никому не нужна... Они меня и выставили.

Куда деваться? Пошла по людям зарабатывать свой кусок хлеба. Кормить-то меня некому было. Скиталась я по чужим дворам, где поработаю, там и переночую. Бралась за любую работу: со скотом – накормить коров, коз подоить, хлев почистить, курицам даже головы крутила, на земле тоже все могла – посадить, окучить, собрать, вскопать, по дому – убираться, воды натаскать, стирать, приготовить что-то. Было бы сил побольше, то и дрова бы колола. Поэтому по хозяйству с ранних лет все умею. Кто же за красивые глаза кормить будет, хлеб заслужить надо.

Разные люди попадались. Кто-то меня жалел: у некоторых я подолгу жила и даже в доме со всеми могла спать. Такие люди частенько мне давали одежду и кормили хорошей едой. У других я спала во дворе, в сараях, а порой и со скотом, кормили меня как зря, но я и этому была рада. Все лучше, чем по улицам на дожде и холоде мыкаться. Бывало, попадались и совсем плохие люди. У таких всю работу поделаешь, а тебя не то что не накормят, а выгонят взащей и побьют... или того хуже. Вспоминать страшно. Детство у меня было очень тяжелое.

Совершенно неожиданно для себя я вышла замуж. Опять мне повезло! Я и не думала, что в моем мире такое возможно. Я уже, можно сказать, свыклась со своей участью. Думала, никому не нужна, никто на меня не посмотрит. Сирота, за душой ни гроша, ни тряпки. Но нашелся человек, который захотел со мной создать семью. И она была у нас. Я родила мужу двоих сыновей – старшего Серёжу, а позже младшего Олега. Мой мир, совсем недавно такой маленький, стал невероятно большим и полным. Я не могла насмотреться на лица своих детей. Когда они были еще совсем маленькими, прижимала их к своей груди и вдыхала, вдыхала запах их волос. Как же мне повезло! Я же до их рождения ничего о счастье не знала! А теперь у меня столько его, что дышать больно! Верно, за годы лишений мне мои сыночки достались.

Жили мы по-прежнему в Пулково. Хотя та семья, которая взяла меня на воспитание, оставила меня, со своими сводными братом и сестрой мы общались хорошо. Они-то ни в чем виноваты не были.

Когда началась война, мужа практически сразу забрали на фронт, я осталась одна с детьми. Все село стало каким-то ненастоящим, будто не наше. Одни бабы, старики и дети кругом. Улицы пустые, тихие. Старики собираются вечером возле домов, перешёптываются, дети не бегают, не кричат. Но мы справлялись, было тяжело, конечно. Но разве меня удивишь этим после детства, полного лишений и скитаний. А тут мне было для кого стараться. У меня были

сыновья! Для них я была готова пойти на все. И шла! Не было ничего, чего я бы не сделала для них. Кровиночки мои. Самое важное в жизни! Муж мой, как и многие в то время, пропал без вести в водовороте войны. Я даже не знаю, что лучше: точно знать, что он погиб или надеяться, будто он где-то на чужбине выживает и не имеет возможности сообщить о себе. Не знаю...

Ни письма от него не осталось, ни весточки. Только память. Память о нашей с ним жизни. Несколько лет счастья у меня было.

Война приближалась. Загрохотал фронт, потянулись по дорогам колонны техники, беженцы. Самолёты заревели над головами. Летели днём и ночью.

Однажды у нас в селе был страшный бой, немец бил беспощадно со всех сторон. Мы будто посередине ада оказались. Взрывами разбивало дома. Брёвна летали, крыши горели, как спички. Металась ошалевшая скотина. Все прятались, кто где, старались, конечно, успеть убежать за околицу деревни, шансов выжить там было куда больше.

Сражение было таким долгим и страшным, что наши дети уже даже не плакали, а тихо выли, обессиленные. Мои сыновья утыкались в мои худые плечи и крепко-крепко сжимали меня, будто боясь, что кто-то отнимет их. В их глазах было столько ужаса, что мне самой становилось еще страшнее. На их немой вопрос: «Мама, когда это закончится?» – мне нечего было ответить, я только сильнее прижимала их к себе. Нам повезло, пережили эту бойню.

Когда бой затих, мы обнаружили, что дома наши все разбиты и сожжены. Так что нам пришлось жить вместе с армией, с солдатами в землянках. Положение было очень тяжёлое. Людей катастрофически не хватало, а уж про медикаменты, еду и другие необходимые вещи я вообще молчу. Нам приходилось помогать медсестрам перевязывать раненых, ухаживать за ними. Мы стирали и зашивали гимнастерки, иногда готовили бойцам еду, в общем, старались сделать нашу трудную жизнь хоть немного более сносной. Чем больше проходило времени, тем становилось тяжелее и тяжелее, было ясно, что в родных местах выжить мы не сможем. Чтобы спасти детей, оставшиеся жители, нашей когда-то большой деревни, бежали в Ленинград. Это было очень трудным решением, так как постоянно были обстрелы.

По дорогам идти нельзя было. Вдоль дорог летали самолёты, могли развернуться и бросить бомбу или начать стрелять из пулемётов. Пошли напрямик, по полям. А некоторые поля на нашем пути были заминированы. Мы бежали через них, и многие люди на наших глазах взрывались и погибали на минах. Я шептала своим сыновьям: «Ребятки, не смотрите по сторонам, только вперед!» Я слышала рядом их прерывистое дыхание, знала, что они бегут рядом со мной изо всех своих сил, которых оставалось совсем немного, и молилась, чтоб их хватило, чтобы добраться до спасительного города.

Повезло! Невероятно, но мы с детьми достигли Ленинграда, и ещё несколько односельчан дошли, среди них была и моя сводная сестра. Нас разместили в эвакуопункте. Со всех ближайших к городу мест туда стягивались несчастные люди. Все они были в кошмарном состоянии, многие из них потеряли своих близких и родных. Вскоре после нашего приезда Ленинград начали обстреливать и бомбить пуще прежнего. Люди гибли, как мухи, убитые лежали на улицах, их не успевали забирать. На улицу не выйти – постоянные взрывы, осколки летают. В небе опять самолёты, постоянный, нескончаемый гул. И взрывы, взрывы... Дома горят. Бывает, после бомбёжки люди выбираются из укрытия, а их дома уже нет. Куча дымящихся развалин. Куда идти? Всё погибло: одежда, вещи, а часто и родные люди, которые не успели спуститься в убежище.

Вскоре начался голод. Я думала, что раньше голодала в детстве, но как же я ошибалась! Ничего я не знала о голоде, ничегошеньки. Хлеба давали очень мало – 125 грамм на человека. Дети плакали и просили есть, но кормить их было нечем. Начались холода, дров не было, воды не было, потому что водопровод замёрз, света тоже не было. Некому было за этим следить, да и постоянная бомбёжка не оставляла сил ни на что. Люди ходили, как тени, голод, холод... Все окна в нашем эвакуопункте были разбиты, мы спали на нарах, утром, когда просыпались,

вставали, а на одеялах был снег. Некоторые умирали ночью в своих кроватях, иногда я им завидовала. Их страдания закончились...

Воды не было, мы набивали снег в посуду, ждали, когда он растает и пили эту воду, но и снега не хватало, он таял медленно, так как зима была очень морозной. Разводили мы снег со сладкой землёй, чтобы немного насытиться. Сладкая земля была оттого, что разбомбили недалеко склад, в котором был сахар. Сахар сгорел и земля пропиталась им, мы и ели, и пили её. Верю, что это помогло нам выжить.

Еда, которую удавалось достать, вся была плохая, хлеб чёрствый, часто с плесенью. Люди умирали и умирали, город был усеян трупами. Их уже не вывозили, а оттаскивали в сторону, собирали в кучи. Большинство погибших на улицах были старики и дети. Мужчины умирали на заводах, на фронте.

Выходишь утром набрать снега, а вокруг эвакуопункта его взять негде. Канализация не работала, так что сами понимаете. И тела всюду.

Чтобы набрать снега, порой проходило пробираться через эти тела. До сих пор в кошмарах вижу раскинутые холодные руки и пустые, будто бесцветные, глаза несчастных, умерших во времена этой страшной блокады. Движения по улицам не было никакого, трамваи стояли брошенные, обледенелые, побитые осколками, люди бродили грязные и невымытые. О какой гигиене могла идти речь, когда даже напиться воды не хватало? Но все-таки, как ни тяжела была наша участь, мы жили надеждой на Красную Армию и ждали, когда она разобьет врага. Мы видели, как дрались наши бойцы и командиры, с какой ненавистью они рвались в бой. И этот огонь давал силы жить и нам. Наши герои прорвали блокаду и через Ладожское озеро стали вывозить детей и матерей, кто остался жив, хотя и живые больше походили на трупы. Когда людей сажали в машину, они не могли сидеть, не было на это сил, и тогда их клали лежа. Я, моя сестра и сыновья выжили в этом аду. Как-то пришли в наш эвакуопункт и стали составлять списки. Слышу – называют. Настала и наша очередь спастись.

Транспорт подъезжал быстро, мешкать было некогда. Грузовики шли и шли. Людей спешно сажали в машины, и они тут же трогались с места. Так вышло, что в суете мы с младшим сыном сели в одну машину, а сестра со старшим – в другую. Я начала нервничать и просить пересадить их к нам, но мне сказали: «Не беспокойтесь, машины пойдут рядом». Так оно и было. Я прижимала к себе Олега и зорко глядела в окошко, следя за машиной рядом. Сестра и Серёжа махали мне руками, старались улыбаться, чтобы я не беспокоилась. А я дрожала вся, чувствовала.

Когда переезжали Ладожское озеро, фашист сильно бомбил. Машина, в которой я сидела с младшим сыном, проехала. А перед кабиной второй, где были моя сестра и Сереженька, всё взорвалось, и грузовик ушёл под лед. Мир будто остановился для меня. Я чувствовала каждый сантиметр машины, который проваливался в эту черную воду. Смотреть было очень страшно: эти крики, стоны и плач... До сих пор не могу забыть! Мне казалось, что я слышу крики сестры и сына. По инерции губы мои шептали: «Тише, тише», – как они делали все жуткие дни и ночи в Ленинграде. Бесконечно долго машина тонула, а я даже не могла кричать. Нас увозили всё дальше и дальше от места гибели близких, но я словно примёрзла глазами к окну, боясь моргнуть. Будто это могло спасти их или хотя бы облегчить их страдания.

Через какое-то время приехали, не помню, на какую станцию. Тех, кто выжил, погрузили в товарный поезд и повезли дальше. Я от такого горя и переживаний потеряла сознание. Когда очнулась, стала кричать, звать детей. Потом я вспомнила, что Сережа погиб, стала плакать. Но младшего же я к себе всю дорогу прижимала, где он?! Подошедшая медсестра сказала, что всех детей сняли с поезда, потому что они были в ужасном состоянии и отвезли в больницу: «Это было в Ярославле, а про Вас подумали, что Вы мёртвая, и скинули с поезда. Но специальная бригада, которая находила и хоронила тела (а среди умерших находили живых, только без сознания, в их числе оказались и Вы) вас нашла и привезла в больницу».

Пролежала я в том госпитале два месяца. Олежек у меня тоже умер в больнице, не смогла я его спасти. Вот так и осталась одна, а когда немного поправилась, меня направили в Горьковскую область, а оттуда демобилизовали в Горький. Там меня многие называли «везучей», я же в Ленинграде выжила. Я-то выжила, а детки мои нет. Зачем мне такое везенье? Я работала на автозаводе, где делали траки для танков, но по состоянию здоровья, я была ещё совсем слаба, вынуждена была перейти на более лёгкую работу, и тут уже началась совсем другая жизнь!

Валентина выжила в этой страшной войне. Позже она вышла замуж за очень хорошего мужчину – Афонина Григория Михайловича. Он был родом из-под Курска. В 1935 году его призвали в ряды Советской Армии. С первого до последнего дня Великой Отечественной войны Григорий находился на фронте. За образцовое выполнение заданий командования был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1963 году стал кандидатом в депутаты Горьковского (промышленного) Совета депутатов трудящихся.

Детей больше у Вали не было, по состоянию здоровья она не могла их иметь. Работала на ГАЗе. Они с мужем были социально активными во всех сферах жизни. Валентина очень любила и много вышивала крестиком. Работы, которые она создала, до сих пор хранятся в ее семье.

Маша (12 лет)

Калганова Мария (г. Обоянь Курской области)

Знаете, как раньше было? В каждой семье куча детей, не то что сейчас. Один, ну максимум двое и хватит. Нет, в моем детстве семьи были большие и многоголосые. Зайдешь в дом, а там щебет девочек, хохот мальчиков, пахнет теплом и уютом. Все бегают, играют, шумят. Муравейник, а не дом. Живой, веселый. Сразу хорошо становится на душе. Ну и пусть тесно, пусть бедно. Зато весело. Всю жизнь эти воспоминания раннего детства грели мою душу.

Я родилась в семье Бородиных Андрея Дермидонтовича и Прасковьи Алексеевны. В нашей семье было пять детей, я самая младшая. Два брата и две сестры у меня имелось. Совершенно обычное дело по тем временам. Отец мой участвовал в гражданской войне и там получил серьезные ранения. Здоровье его стало совсем слабым, он чувствовал себя с каждым годом все хуже и хуже. Прошло совсем немного времени после моего рождения, как его не стало.

Маме в одиночку предстояло вырастить нас пятерых. Мы жили в селе Казацкое, совсем небольшим оно было. Райцентр казался крупным городом, где намного проще было поставить детей на ноги. Почти перед самой войной мы переехали туда. Мамочка стала работать уборщицей. Тянула ляжку изо всех сил. Бралась за любую работу, что ей предлагали, но, конечно, зарплаты на такую ораву катастрофически не хватало. Уходила затемно, возвращалась в сумерках. Жили мы очень бедно, питались скудно, мама была одна, а нас у нее было много.

Грянула война. В каждый дом она ворвалась, в каждую семью, сметая все на своем пути. Рухнуло все то, что было привычно. Мне было тринадцать лет, когда в город вошли немцы. Да как вошли. Ввалились, будто хозяйка к себе домой. До всего им было дело, все было нужно. Даже наша крохотная жилплощадь. Заявились, выбросили за дверь детей, выволокли мать. В чем были одеты, в том мы и пошли. Перебрались жить в подвал.

У людей было отнято буквально все: квартиры, хорошие вещи, мебель. А у нас и братья особо нечего было, но даже самые крохи забрали. Начались долгие месяцы оккупации, постоянного голода и парализующего душу страха. Немцы ходили по улицам, могли взять, что хотели, обидеть, забрать, даже убить. Им нравилось, что их все боятся, что начинают дрожать, когда зверь в серой форме приближается. Хохотали, когда человек шарахался в сторону, закрывался руками от этого ужаса.

Жители, чтобы выжить, меняли оставшиеся или припрятанные вещи на еду. А так как нам нечего было менять, то одна надежда была на хлебные карточки, которые давали маме на нас всех. На сутки был положен крохотный кусочек хлеба. Я его прямо сразу проглатывала. Хлебный вкус яркой вспышкой чувствовался на языке какое-то время, и я закрывала глаза, представляя, будто все еще ем.

Однажды мама принесла бидончик молока и малюсенькую горсточку крупы. Где достала, одному Богу известно. Мы, как галчата, стояли вокруг стола. Сейчас будем варить кашу! Помню, как медленно мама разбавляла молоко водой, чтобы можно было еще после допить его. Каша получилась такая жидкая, что напоминала больше кисель. Брат смеялся и говорил, что в ней крупинка за крупинкой бегают с дубинкой. Но было так вкусно, просто невероятно. Боже мой! Настоящая горячая еда. Мы обжигались этой кашей и ели, ели... Я надолго это запомнила.

Честно признаться, я не знаю, как мы выжили. Все, кто прошел через эти жуткие условия не смогут ответить на этот вопрос. Я тогда была такой слабенькой и худенькой, мамочка говорила, что я в свои тринадцать внешне едва дотягивала до восьми лет.

Мы всего на свете боялась. Жили, будто по минному полю шли. Очень страшно было, потому что среди жителей были полицаи, которые издевались ещё больше, чем немцы. Я совер-

шенно не могла этого понять. Всего год назад мы с ними на улицах здоровались, а они нам улыбались. А теперь в глаза им смотреть страшно, не осталось в них ни капли знакомого и человеческого. Будто племя другое поселилось рядом с нами, выглядящее как прежде привычные люди. За каждую легкую провинность были истязания, а то и казни.

Порой жителей отправляли в Германию на работы. Часто весь город выводили на площадь для показательных расстрелов или повешений, тела потом долго не убирали с виселицы, дабы остальным неповадно было. Я пробегала мимо них, стараясь не смотреть. Щурила глаза, но все равно в солнечный день тень от виселицы падала на мое лицо, и я кожей чувствовала сковывающий меня ужас. Зверства невероятные творились.

В нашем доме поселили местных жителей, глава этой семьи работал на немцев. Вынужден был, я думаю. Многие тогда не прочь были работать на врага. У всех были дети, родственники. Все выживали, как могли. Разве есть что-то плохое в том, чтобы оберегать свою семью? Тот мужчина нас жалел, старался помочь. Бывало, давал кусок мыла хозяйственного, мы его очень экономили, а иногда нам перепадало немного муки и сахара. Благодаря ему, совершенно незнакомому до войны человеку, мы кое-как справлялись.

Весной и поздней осенью нам разрешалось собирать остатки овощей с полей. Они лежали гнилой темной массой, порой и не понятно было, где земля, а где овощи. Но выбирать не приходилось. Мама из них делала драники, чтобы хоть как-то прокормить нас. Помню, как на сковородке из этого месива прыгали червяки. Какие смешанные чувства невыносимого голода, когда слышишь шкворчание готовящихся овощей, и ужаса, когда видишь, что из них вылезает! Но нам приходилось питаться этими драниками, чтобы не умереть с голоду. Поэтому сейчас я никогда не ем их. Сколько лет прошло, а мне всё противно.

Как-то раз, когда я шла по городу худая и изможденная, один из немцев окликнул меня. Я, конечно, подошла. Ослушаться приказа было невозможно. Иду, а у самой сердце при каждом шаге замирает. Страшно! Он смотрит на меня, улыбается, а глаза странные какие-то, мокрые что ли. Немец руку за пазуху сунул, я сжалась как струна, зажмурила глаза, колени затряслись от ужаса. Но вроде ничего не происходило. Я заставила себя приоткрыть один глаз. Смотрю, а мне шоколад протягивают. Раньше я никогда его не пробовала, и хоть мне не хотелось брать еду из рук врага, но так сильно хотелось есть, а шоколад выглядел таким вкусным, будто из другого мира. Я схватила его и тут же засунула в рот. Пока я ела, немец смеялся. Почему он меня пожалел? Может, у него своя дочь в Германии осталась? Может под этой серой формой осталась хоть капля человеческого?

Во время войны мои сестры были уже взрослые. Одной девятнадцать, другой двадцать лет. Мне казались они невероятно красивыми. И видимо не одной мне, потому что мама их, как могла, прятала. Лишний раз из дома старалась не выпускать, а уж если приходилось, мазала им лица сажей, чтобы выглядели, как замарашки, и не понять было их внешности. Очень боялась, что их изнасилуют. Сплошь и рядом такое было же. Однажды и в наш подвал ввалились пьяные немцы. Мама успела нас спрятать, но ей пришлось самой лечь под врага, чтобы они не стали искать сестер. Самый страшный день в моей жизни...

Через какое-то время восстановили занятия в школах, я начала ходить на уроки. Учеба мне нравилась, я получала хорошие отметки. Но было сложно, иногда мысли становились тягучими, как кисель, голова кружилась нещадно. Мама всегда нам говорила: «Учитесь, девки, не ленитесь, а то будете, как мать, полы мыть. Получайте образование». Помню ее стертые костяшки пальцев, вечно потрескавшиеся от воды и хлорки руки. Она заботилась о нас изо всех сил, верила в наше будущее, готова была сделать для этого все.

Почти сразу после войны, в 1947 году, мамы не стало. Видно, надорвала оно свое здоровье тяжелой работой, голодом и болезнями. Ничего тогда не было, все доставать надо было невероятным трудом. Но брат нашёл телегу и лошадь, чтобы похоронить её с достоинством.

Мы выучились, как она мечтала. После войны мы с сестрами пошли в техникум. Я стала воспитателем, а они библиотекарями. Моя старшая сестра Вера жива до сих пор и живет в городе Фурманов Ивановской области. Всех нас жизнь раскидала по стране. Оленька тоже уехала из родных земель и жила в Петропавловск-Камчатском. Только брат Вася остался в Обояни. Ах, какие вкусные яблоки он мне присылал, бывало! Старший брат Ваня не пережил войны, не вернулся с фронта.

Мой брат и сестры заботились обо мне не хуже мамы. Они ж, считай, все погодки были. Всегда все вместе, а я самая маленькая была. После окончания техникума меня распределили на работу воспитателем в Киренск Иркутской области. Сёстры мне пошили пальто, купили чулки и одеяло. В общем, собирали в дорогу. А она предстояла очень длинная. Сначала надо было ехать поездом, потом паромом по реке Лена. Меня снабдили едой: хлебом и отварной свеклой. Больше и не было ничего. Со мной в поезде ехала моя однокурсница Клава, её семья жила зажиточно, и ей в дорогу дали отварную курицу и меда целый трехлитровый бидончик. Она не делилась ни с кем, ела одна. А мне так хотелось попробовать ее еды, но, конечно же, попросить я никогда бы не осмелилась.

Чувство голода сопровождала меня все время, что я помнила. И во время войны, и после. Это чувство настолько сроднилось со мной, что стало уже почти нормальным.

Я приехала в Киренск и в детском садике впервые наелась за все годы лишений. У нас была очень добрая повариха, которая меня сильно жалела и всегда старалась подкормить, подложить лишний кусочек.

Потом за мной стал ухаживать Иван Иванович Калганов. Он работал в отделе кадров на Киренской пристани, а потом выучился на капитана. Мы поженились и прожили с ним долгую жизнь, переехали в Иркутск, а затем в Усть-Илимск, поближе к выросшим детям. Их у нас двое было: дочь Ирина и сын Виктор, на два года младше сестры. Была у нас еще старшая дочка Галечка, но она умерла в годик. Навсегда место для нее у меня в сердце осталось. Мужа не стало в 2004 году. У нас большое продолжение: четверо внуков, правнучка и правнук.

Помню, как мама иногда грустно смотрела на меня, как я мучаюсь в голоде, и в сердцах говорила: «Слабенькая ты, Маша, младшенькая, хоть бы Бог прибрал, нам и так есть нечего, и тебе так не страдать». А я смогла, выжила. Меня не стало 24 июля 2018 года в возрасте девяноста лет. Но я рассказала дочери свою историю, и она навсегда останется в ее душе так же, как и я. Я проходила по тем же дорогам, что и она, смотрела на то же, что и она, вдыхала тот же воздух и пела те же песни. Я была и буду в своей семье всегда.

Зина (18 лет)

Клочкова Зинаида Михайловна (Зюляева) (с. Пожарки Сергачского района Горьковской области, Россия)

Я родилась 30 июня 1923 года в селе Пожарки Сергачского района Горьковской области. Когда началась Великая Отечественная война, мне едва исполнилось восемнадцать лет. Как и все молоденькие девушки, с радостью и предвкушением я ждала свое совершеннолетие. Выпускные в школах, цветы, танцы, первые поцелуи. Даже в самом ужасном сне никто не мог представить, что наши лучшие годы, годы юности, придутся на страшное лихолетье и навсегда изменят нашу жизнь.

Объявили мобилизацию, и все мужчины нашего села, парни нашей школы в первый же день пришли записываться на фронт.

Рано утром я ходила на работу в райком комсомола, где на общественных началах служила машинисткой. Там мне приходилось составлять списки добровольцев – моих ровесников, отправляющихся на фронт. Это было очень тяжело, даже страшно. Мне казалось, что, вбивая их имена в длинные столбцы, я подписываю им смертный приговор. Каждый шаг по гулкой улице в сторону райкома давался мне нелегко, перед глазами плыли имена и лица хорошо знакомых людей. Всех их звала война, и было совершенно неизвестно, кого она отпустит живым. Я прекрасно осознавала, что лишь немногие из них вернутся домой. Плакала по ночам в подушку. Мне бесконечно снились длинные столбцы имён, которые превращались в такие же длинные колонны мобилизованных, уходящих по пыльной дороге к станции.

В начале войны советские войска отступали, и в конце 1941 года в селе Пожарки в здании педагогического техникума расположился эвакуационный госпиталь № 2872 1-го Украинского фронта. Я не могла оставаться безучастной к общему горю. Я вписала в списки мобилизованных так много фамилий знакомых ребят, отправившихся на фронт, но так мало из них осталось в живых, что я просто обязана была спасти выживших столько, сколько смогу.

Я устроилась работать санитаркой в этот госпиталь. Когда наши войска начали наступать, госпиталь стал продвигаться вслед за фронтом. Самые страшные бои были на Курской дуге. Санитарки, все сплошь молоденькие девчонки, из последних сил сражались на своей войне со смертью. Они старались вырвать из ее острых когтей как можно больше солдат. Погода стояла невыносимо жаркой и влажной. В медчасти почти ничего не было, не хватало даже бинтов! Для перевязок их стирали, гладили и снова использовали. Девочки таскали раненых на плащ-палатках, в них же спали, когда валились с ног от усталости. Сначала было страшно смотреть на изуродованные тела, на оторванные руки и ноги, но совсем скоро все это смешалось в кровавое месиво боли и ужаса. Тут и там были слышны стоны, крики и плач. Ад на земле, не иначе! Санитарки металась в этом чистилище, стараясь не только спасти, но и поддержать добрым словом раненых.

Я не была военнообязанной, мне не полагалось полноценного продуктового пайка, военного обмундирования и обуви. В конце войны все мои вещи пришли в негодность: обувь износилась, одежда изорвалась. Одежду эту, как могла, латала, но непогоды она не выдерживала. Так проходили мои дни: в тяжком труде, голоде и лишениях. Бывало, в студеные зимние ночи я покрепче заворачивалась в свою плащ-палатку, стараясь согреться и смотрела-смотрела в звездное небо без всполохов от взрывов. Я мечтала, что когда-нибудь такое спокойное время будет всегда.

В 1944 году мы с госпиталем добралась до Польши. В один из тяжелых дней, уже ставшим обыденным, случилось огромное счастье. В наш госпиталь с ранением попал мой отец Зюляев Михаил Петрович. Да! Это было счастье!

Раненый, но живой! Мы смотрели друг на друга и не верили, что это не сон. Как больно и радостно нам было! Бегу мимо койки, где отец лежит, хоть на миг, хоть на краткую минуточку остановлюсь, посмотрю на родное лицо. Соседи его завидовали нам, ворчали, мол, повезло Михаилу, как в санаторий попал, и дочка рядом. Но мы на них не сердились. Понимали, что у каждого душа болит за своих, за тех, кто остался в тылу, а то и на оккупированной территории.

Моя война закончилась в Польше под городом Краков. Весной 1945-го года я вернулась домой в своей маленькое село на правом берегу реки Пьяны. На первый взгляд казалось, что там всё осталось по-прежнему. Но это было не так. Война острой бритвой прорезала каждый дом, каждую семью в родных местах.

Позже Зина вышла замуж, родила и вырастила двух дочерей. Тридцать пять лет работала в одной дорожной организации и ушла на пенсию ветераном труда. Награды за участие в войне Зинаида получила уже в мирное время: пять медалей к юбилейным датам Победы и орден Отечественной войны II степени.

Она прожила 76 лет (умерла 18 сентября 1999 года), была скромным человеком, мало говорила о войне. В День Победы всегда ходила на митинг к обелиску погибшим воинам в селе Пожарки. У неё было очень доброе сердце: она старалась ни с кем не ссориться, всем сочувствовала, за всех переживала. Все, кто её знал, всегда вспоминают о ней, как об очень хорошем человеке. В День Победы её дочь всегда приходит к ней на могилку, приносит цветы и георгиевскую ленточку.

За что фашисты убили мою маму? Володя (6 лет)

Владимир Константинович Коршук (г. Минск)

Я родился в учительской семье в г. п. Уречье Любанского (Слуцкого) района. Перед войной отца назначили заведующим Брестского областного отдела народного образования. Мама, Анна Давыдовна, работала учительницей начальных классов. Накануне вечером успели втроём сходить в кино. Это удавалось редко, отец часто был в разъездах и командировках. Я не помню, какой фильм мы смотрели. Помню только радость от того, что сижу в темноте зала, рядом мама и папа. Мама держит меня за руку, где-то за спиной стрекочет кинопроектор. И думал я в тот момент о том, что вот это и есть счастье. Мама, папа и кино. И хотелось, чтобы это продолжалось всегда.

Рано утром 22 июня раздались взрывы бомб и снарядов. Отец вскочил, быстро оделся и побежал в облизполком. Мама разбудила меня. Прошло минут 10–15, через забор перелезли странные солдаты в новенькой, пахнущей кожей и нафталином форме, спросили у мамы, как пройти в центр города. Я ещё удивился, что мама отвечала как-то путанно, словно не знала той улицы, по которой ходила каждый день. Хотел вмешаться, объяснить этим солдатам, как идти. Но мама дёрнула меня назад. Я надулся и убежал в дом.

Когда солдаты ушли, мама сказала, что это немцы, что говорят они с акцентом. И форма кажется своя, советская. Но что-то в ней неправильное. То ли пуговицы не так, то ли швы не туда. Тогда постоянно ходили слухи о немецких диверсантах. Мама переживала, хотела куда-то бежать, звонить. А куда бежать? Куда звонить? Повсюду мерещились эти страшные чужаки в неправильной форме.

Отец вернулся через несколько часов, никого не застал на работе. Они с матерью долго обсуждали что-то на кухне. Даже поругались. Отец настаивал на том, что нужно уходить. Мать плакала, ей жалко было оставлять дом, всё нажитое. Но отец настаивал. Он понимал, что если в посёлок придёт враг, то его, коммуниста и руководителя, ничего хорошего не ждёт. Тогда мы ещё не знали самого страшного, но отец словно чувствовал.

Собрали немного вещей, еды, увязали в узлы, отец достал со шкафа свой старый чемодан. И пошли в Брест. Дорога была забита беженцами. Бесконечно гудели грузовики, пробиваясь в плотной медленной толпе людей. Пешие с завистью смотрели на тех, кто ехал в этих грузовиках. На обочину выскочила деревенская повозка. Испуганный мужик в ней бросился спрашивать всех встречных:

– Люди, что случилось? Куда вы все?

– Война! Война! – отвечали ему.

Мужик охнул, рванул вожжи так, что лошадь обиженно заржала. И помчал обратно, в свою деревню. Телега подпрыгивала на кочках, мужик шатался, едва не выпадая наружу. А мы пошли дальше.

В пригороде Бреста впервые увидели развалины здания. Я не мог понять, почему на улице стоит детская кроватка с обожжённым одеялом, а там мёртвая маленькая девочка. А люди идут и идут мимо. И никто не подходит к кроватке, не укрывает ребёнка, не ищет его родителей. Все проходят, у каждого уже своя беда, свой страх.

Впереди уже показались брестские улицы, как над головой заревели самолёты. Мы как раз шли по ржаному полю. Длинная колонна усталых, мирных людей. Женщины, старики, дети. Отлично было видно, что это не военные, не солдаты. А самолёты развернулись и начали обстреливать толпу. Мы бросились в рожь, да разве от самолётов спрячешься. Сверху отлично

всех видно. Лётчики гонялись за людьми, словно ради забавы. Стреляли, стреляли. Повсюду лежали убитые: вдоль дороги, в истоптанной ниве...

Нам повезло. Отец, едва заслышав самолёты, потащил нас в сторону от дороги. Пришлось только бросить простреленный чемодан с вещами. Сил не было идти дальше. Заночевали прямо в поле, среди колосьев и убитых. Утром пошли дальше.

Только приблизились к дороге, как поняли, что опоздали. Мимо с рёвом пронеслись мотоциклисты в чужой форме. Лязгали гусеницами танки, солдаты с бортов грузовиков смеялись над нами, стоящими на обочине в растерянности, показывали пальцами. Какой-то серый человек с закатанными рукавами постоянно щёлкал фотоаппаратом.

Тела вчера убитых никто не убирал. Их просто сдвинули в сторону, на обочину. Танки давили гусеницами какие-то обломки, тряпки. Кому-то ещё вчера эти тряпки были дороги, он взял их с собой, в эвакуацию. А сегодня уж и нет того человека. И барахло его втаптыкает в грязь враг.

Отец растерялся, повернул в сторону от Минска. Надо было идти назад, домой, но дома уже враг. Куда податься? Куда идти? Снова всю ночь они с матерью что-то обсуждали, а я делал вид, что сплю на колючей, неудобной кочке. Утром куда-то всё-таки пошли.

Заходили на хутора, где нас кормили и давали ночлег. Отец многих жителей знал. Две недели провели у знакомого учителя по фамилии Паук. Он предлагал нам остаться. Но отец боялся подвергать товарища опасности.

Тогда учитель, докуда смог, подвёз нас на подводе. Мама хотела вручить ему деньги, но этот душевный человек сказал, что за дружбу в тяжёлую минуту не платят.

Шли мы параллельно железной дороге Брест – Минск. Дошли до Столбцов, затем до станции Негорелое и г. п. Узда. В деревне Малый Чашин отдохнули и переночевали у тёти Анны, сестры отца. Остановились мы в деревни Мрочки Узденского района, где жили бабушка и дедушка. Спрятались у них. Старались лишней раз не выходить наружу, не показываться оккупантам на глаза. Соседи, конечно, знали, что мы живём в доме, но никто про отца не рассказывал, не сдавал нас.

Жить было тяжело. Постоянный страх, не хватало самого необходимого. Еды, одежды. Часто делили на всех один кусок хлеба, одну миску каши. Немцы приходили, забирали продукты, вещи. Зимой остались без одежды, она приглянулась проходящему солдату. Заматывались в какие-то тряпки, накручивали на себя для тепла.

Отцу было очень тяжело. Он всегда был активный, деятельный, болел за дело. А тут приходилось сидеть и ничего не делать. Он очень переживал. Но молчал. Куда было деваться.

В феврале 1942 года у старосты деревни гостили немцы и полицаи, отмечали поимку нашего военнопленного. Напились до безобразия, вывалились на улицу, стреляли в воздух. Деревенские спрятались от греха подальше.

Староста предложил ещё «добычу», подсказал, что в семье моего деда Фёдора Коршука живёт еврейка. Пришли полицаи к нам. Отца и деда не было дома, заготовливали дрова. Староста указал на маму: «Вот она!» Ей приказали одеваться. Я сидел на печке, а мама звала попрощаться. Очень жалею, что я тогда сильно испугался, спрятался от всех под лавку. Мать не дозвалась, вышла, утирая слёзы.

Полицейские сказали, что повезут её в лагерь. Вернулись дед с отцом, побежали мать искать, допытываться у старосты. А тот пьяный был, пригрозил, что им тоже плохо будет.

А наутро в окно постучали соседи. Мама и ещё две женщины из семьи Гурских лежали убитыми на снегу у дороги на Узду. Маме стреляли в лицо, на котором были заметны две дырочки от пуль. Я спрашивал у деда: «Почему маме стреляли в лицо, ведь она очень красивая?» За гробом шла только наша семья, люди боялись приходить: такое это было время. Старосте мы не простили. После войны, когда его судили, отец с дедом выступали свидетелями. Надо было видеть, как юлил и умолял их этот человек. Но отец стоял с бледным и жёстким

лицом. Видимо вспоминал, как мы шли за гробом мамы. Судьи не стали жалеть предателя, дали ему 25 лет. Он так и не вернулся, сгнил где-то в лагере.

После смерти матери отец совсем потерял покой. Стал пропадать по ночам. Вышел на каких-то подпольщиков и принял активное участие в их опасном деле.

Когда отец уходил на задание, меня прятали у других людей. В деревне оставаться было небезопасно, везде рыскали полицаи, были у них осведомители. Отец решил не подвергать опасности деда и бабушку, пробираться на Любанщину. Оставлять меня в Мрочках было тоже опасно, поэтому он взял меня с собой. Через реку Лошу переправил на лодке нас Ростислав Герт, подросток из Роспов. Не могу не вспомнить одну встречу перед партизанским лагерем. Ехали с отцом верхом на лошади. Нас остановил окриком партизанский часовой:

– Стой! Стрелять буду!

– Это ты, Данила? – ответил отец, узнав в партизане сына Николая Жука, у которого мы жили когда-то на квартире.

Данила тут же опустил оружие, узнал отца, обнял его. Взрослые мужчины стояли, чуть не плача.

Наш разговор с 90-летним Даниилом Жуком состоялся по телефону только спустя 70 лет благодаря краеведу из Копыля. Отец и Данила поговорили. Жук подсказал, как добраться к его родителям. Затем мы жили у знакомых учителей. Отец стал бойцом партизанской бригады имени Брагина, хотел переправить меня на Большую Землю. Даже сохранилось распоряжение командира Минского партизанского соединения полковника Иосифа Бельского, в котором написано: «Отправить сына Коршука К. Ф. самолётом в Москву».

Но ничего не получилось, обстановка была сложная, гитлеровцы блокировали партизанскую зону, и я не улетел. Начались затяжные бои. В лес шли и шли большие отряды немцев, полицаев. Нас выслеживали с самолётов, окружали со всех сторон, накрывали миномётами.

Партизаны метались из стороны в сторону, было много раненых. Убитых приходилось оставлять на месте боёв. Все забыли о спокойном сне, о еде. Перебежка – бой, перебежка – бой. Считали только патроны, берегли последнюю гранату.

Как-то мы вышли на большую поляну и попали в засаду. Отовсюду бьют автоматы, пулемёты. Пули так и свистят. Вокруг падают люди, кричат раненые. Отец накрыл меня от пуль своим телом, прижал к сырому мху.

– Если меня убьют, ты останешься жить!

Закрывал меня, а сам стрелял в бегущие серые фигуры.

Тогда мы ушли, вырвались из засады, командиру удалось вывести остатки отряда из западни.

Шли по глубокому болоту, отец устал нести меня на руках, и тогда по очереди меня несли партизаны, а когда добрались до острова, собрали для меня немного щавеля, а сами остались голодными. Передохнули немного, удалось связаться с Большой Землёй, вызвать подмогу.

Ночью на островке разожгли костры, и в темноте каким-то чудом к нам спустился советский самолёт. Я не знаю имени лётчика, но уверен, что это был мастер высокого класса. Он сумел, ориентируясь на тусклые костры, сесть в незнакомом месте на неподготовленную землю.

Этим самолётом нас, партизанских детей, переправили в освобождённый Гомель в детский дом. Приземлились на аэродроме «Новобелица». Кто-то передал мне конверт с деньгами от отца, так мы с другом купили конфет на всю сумму и угостили всех ребят. Потом мы долго жили в детдоме. Я очень скучал по отцу, ждал его, верил, что он скоро приедет и заберёт меня.

Воспитательницы нас, сирот, конечно, жалели, старались придумывать всякие игры, сказки. Но это всё было не то. Мы ждали своих родителей.

24 августа 1944 года за мной пришёл мужчина от отца и сказал, что отвезёт в Минск. В вагон невозможно было попасть, люди штурмовали дверь, набивались так плотно, что было трудно дышать. Меня подняли на руках, посадили в окно. Там, чужие люди, со смехом при-

няли, подвинулись, нашли место. Я ехал и радовался всю дорогу. Я еду к отцу! Я снова его увижу! Я буду не один!

На вокзале меня встретила коллега отца из Минского облоно по фамилии Буклей и спросила: «Как поживает юный партизан?» Отвела к себе домой, накормила.

Я играл с её дочерью до вечера. Ну как играл, всё время ждал, что сейчас откроется дверь и войдёт отец. Скучный из меня был, наверное, кавалер.

Отец пришёл в новой гимнастёрке с медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. Он тоже готовился к нашей встрече, волновался. Он тоже все эти годы жил без меня и волновался, думал только о том, где я и что со мной.

Отец сказал, что у меня сегодня, 25 августа, день рождения. А я совсем забыл про это. Во всей этой суматохе войны, боях, перелётах разве до дня рождения нам было. Отец взял меня на руки, сел за стол. О чем мы говорили, как праздновали этот день рождения, я не помню. Я сидел и прижимался к самому родному для меня человеку. И счастьем моему не было конца.

К сентябрю отец меня снова отвёз к бабушке и дедушке в деревню Мрочки, где я пошёл в 1-й класс. Затем забрал в Минск, где начал учиться сразу во 2-м классе. В партизанском отряде со мной занимались подпольные секретари ЛКСМБ Попов и Каширов. Они учили меня читать и писать, таблице умножения. Но пробелы в моём образовании были огромные. Например, вызвали меня как-то к доске писать диктант. А я стою растерянный, не знаю, как писать букву «у». Ребята смеются.

Война прошла через моё детское сердце. Сегодня я занимаюсь историей, много читаю об этом страшном времени. И до сих пор мучает один вопрос: «За что фашисты убили мою маму? Чем она была виновата?»

Галя (5 лет)

Галина Ивановна Прищепя (Иосько) (д. Мервины Клецкого района, Беларусь)

Моё военное детство прошло в деревне Цепра. До войны жили, как все: дом, сад, куры во дворе, корова бодливая. Отец в поле работает, мать по дому хлопочет. Я сижу на пороге, играю в куклы. Лето, жара. Ребята зовут на улицу бегать в салочки, в догонялки.

И почти сразу же – ночное зарево, когда вражеские самолёты бомбили Клецк. Рёв в тёмном небе, разрывы бомб у моста деревни Грицевичи, у шоссе Барановичи-Слуцк, по которому отступала наша армия. Длинные колонны техники, грузовиков, угрюмые лица солдат... У машин заканчивался бензин, их бросали вдоль обочин, поджигали, взрывали гранатами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.